

— ФАНТАСТИКА —
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

РОБЕРТ СИЛВЕРБЕРГ

УМИРАЯ В СЕБЕ
КНИГА ЧЕРЕПОВ



Фантастика: классика и современность

Роберт Силверберг

Умирая в себе. Книга черепов

«Издательство АСТ»

1972

УДК 978-5-17-122078-5

ББК 84(4Вел)-44

Силверберг Р.

Умирая в себе. Книга черепов / Р. Силверберг — «Издательство АСТ», 1972 — (Фантастика: классика и современность)

ISBN 978-5-17-122078-5

Роберт Силверберг – Грандмастер фантастики, обладатель 6 «Небьюл», 5 «Хьюго», 8 «Локусов» и еще десятка разнообразных наград. Первый рассказ опубликовал в 19 лет, а в 21 год завоевал «Хьюго» как наиболее многообещающий молодой автор. Нередко в одном номере журнала «Amazing Stories» или «Fantastic» появлялись несколько его рассказов под разными псевдонимами, которых у него было больше трех десятков. В ранний период своего творчества Силверберг стремился охватить как можно большую читательскую аудиторию, не пренебрегая ни одним из жанров – писал научпоп, детективы, эротику. В 1967–1976 годах он полностью сосредоточился на фантастике, заслужив любовь как почитателей твердой НФ, так и фэнтези-саг (цикл «Маджипура»). «Умирая в себе» – роман, удостоенный мемориальной премии Джона Кэмпбелла, – повествует о нелегкой судьбе телепата, пытающегося смириться с особенностями своего дара. Экстраординарные способности постепенно разрушают доброго и чуткого Дэвида, пожирают его личность. Во втором романе, «Книга черепов», компания студентов отправляется в путешествие по пустыне с целью проникнуть в заповедное Братство Черепов и раскрыть секрет бессмертия, которым, по слухам, обладают таинственные члены затерянного в аризонской глуши культа. Для этих парней бессмертие – весьма привлекательная игрушка, вот только не слишком ли дорогую цену придется заплатить за обладание ею? В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 978-5-17-122078-5

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-122078-5

© Силверберг Р., 1972

© Издательство АСТ, 1972

Содержание

Умирая в себе	6
Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	14
Глава 5	17
Глава 6	19
Глава 7	20
Глава 8	22
Глава 9	25
Глава 10	28
Глава 11	36
Глава 12	40
Глава 13	44
Глава 14	49
Глава 15	51
Глава 16	55
Глава 17	61
Глава 18	65
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Роберт Силверберг

Умирая в себе. Книга черепов

Умирая в себе

Глава 1

Что ж, пора снова двигаться в центр, в университет, чтобы подзаправиться долларами. Мне не так уж много и требуется на прокорм – баксов двести в месяц. Но запасы поистощились, и я не решаюсь снова занимать у сестры. А студентам вскоре сдавать первые сочинения за семестр. Это надежный бизнес. Вот и подспела пора мобилизовать утомленный до изнеможения мозг Дэвида Селига. В это прекрасное золотое осеннее утро у меня, быть может, получится набрать заказов долларов на семьдесят пять. Воздух чистый, живительный, высокое давление вытеснило из Нью-Йорка сырость и туман. В такую погоду моя хиреющая сила расцветает снова. Итак, отправимся, ты и я, как только утро прогонит тьму с небес, на метро, на станцию «Бродвей». Приготовьте билеты, пожалуйста!

Ты и я. А кому я, собственно, это говорю? Я же собираюсь ехать в центр в полном одиночестве. Ну конечно, я обращаюсь к самому себе, а также к тому существу, которое живет во мне, прячется в своей губчатой норе и шпионит за ничего не подозревающими смертными. Этот внутренний монстр, этот доносчик – живая моя боль. Но умрет он, видимо, раньше меня. Йейтс однажды написал диалог души и тела, почему бы не сделать того же и Селигу, который раздвоился так, как бедному глупенькому Йейтсу и не снилось. Я имею в виду уникальный и губительный талант, поселившийся в черепе Селига подобно непрошеному гостю. Почему бы не описать? Так идем же вместе, ты и я. Через холл. Нажмем кнопку. Войдем в лифт. В нем пахнет луком. Эти крестьяне, эти роящиеся пуэрториканцы, они повсюду распространяют свой характерный запах. Соседи мои. В общем, неплохие люди. Мне они нравятся. Вниз! Вниз!

Сейчас 10.43 по нью-йоркскому времени. Средняя температура в Центральном парке – 57 градусов. Влажность – 29 %, на барометре 30.30 и прослеживается тенденция к падению. Ветер северо-восточный, 11 миль в час. По прогнозу ясное небо и солнечно днем, вечером и завтра утром. Вероятность осадков сегодня равна нулю, завтра – 10 процентов. Показатель качества воздуха выше среднего. Дэвиду Селигу 41 год. Высоковат, худощавая фигура холостяка, который сам себе готовит скудную пищу. Обычное выражение лица – недовольно-озадаченное. Немного щурится. В своей темно-синей джинсовой куртке, тяжелых башмаках и полосатых брюках по моде 1969 года он выглядит чрезвычайно молодо, по крайней мере фигурой; в целом же он похож на человека, сбежавшего из закрытой лаборатории, где занимаются тем, что сажают лысоватые головы людей зрелого возраста на тела подростков. Как это произошло? С какого времени начали стареть его лицо и прическа?

Обвисший кабель насмешливо скрипит, когда Селиг выходит из своей двухкомнатной квартиры на 12-м этаже. Пожалуй, этот ржавый кабель старше, чем он сам. Он-то 1935 года рождения, дом же построен, вероятно, в 1933-м или 1934-м, во времена достопочтенного мэра Фиорелло Ла-Гардия. Но, может быть, и позже, перед войной, во всяком случае. (А помнишь 1940 год, Дэвид? Тебя тогда взяли на Всемирную выставку.) Так или иначе, здания потихоньку стареют. А что не стареет?

Лифт со скрипом останавливается на седьмом этаже. Даже прежде чем открывается покорябанная дверь, я ощущаю трепетную дрожь живого испанского ума. Конечно, ошибиться трудно, лифт ожидает молодая пуэрториканка – в доме их полно, а мужья в это время на работе.

Но я и так был уверен, что улавливаю ее психическую эманацию, а не просто играю в отгадки. Все в точности. Она мала ростом, смугла и уже не на первом месяце беременности. Я могу различить два нервных сигнала: живое как ртуть излучение ее собственного сознания и тупые, туманные позывы плода, примерно шестимесячного, запертого в ее вздутом животе. У женщины плоское лицо, широкие бедра, маленькие блестящие глаза и вытянутые губки. Второй ребенок, грязная девочка лет двух, держит мать за палец. Она хихикает, а мать, входя в лифт, приветствует меня настороженной улыбкой.

Они становятся ко мне спиной. Напряженное молчание. «Буэнос диас, сеньора, – мог бы сказать я. – Прекрасный день, мэм, не правда ли? Какое у вас прелестное дитя». Но я молчу. Я с ней незнаком. Она похожа на всех других, живущих в этом доме, даже умственная продукция у нее стандартная, неиндивидуальная: в голове бананы, рис, выигрыши в еженедельной лотерее, а вечером телевизор. Тупая сука; но – она человек, и мне она нравится. Как ее зовут? Альтаграсия Моралес, Амантина Фигероа, Филомена Меркадо? Люблю испанские имена. Чистейшая поэзия. Сам я вырос среди пухленьких глуповатых девиц по имени Сандра Винер, Беверли Шварц, Шейла Вайсброд. Мэм, может быть, вы миссис Иносенсия Фернандес? Или Кладомира Эспиноза? Или Бонифация Колон? А может быть, Эсперанса Домингес? Эсперанса, Эсперанса! Я люблю вас, Эсперанса! – звучит в моей груди вечно. (На Рождество я был на бое быков в Эсперанса Спрингс, штат Нью-Мексико. Останавливался там в «Холидей Инн». Нет, я дурачусь.) Ну вот и нижний этаж. Делаю шаг вперед, чтобы открыть дверь. Милая тупая беременная чикита даже не улыбается мне, выходя из лифта.

Теперь в метро, хип-хоп, один длинный прогон. В нашем отдаленном квартале линия еще наземная. Прыгая через щели, грохочу по ступенькам, вбегаю на станцию, ничуть не запыхавшись, – результат правильной жизни. Простая диета, не курю, пью немного, никаких кислоток и травок, никакой спешки. Станция в этот час почти пуста. Но я сразу же слышу набегающий грохот колес, лязг металла по металлу, и одновременно с севера на меня накатывает мощный поток мыслей целой фаланги мозгов, упакованных в пяти-шесть вагонов. Души всех пассажиров, спрессованных в единую массу, разом наваливаются на меня. Масса эта подрагивает, как студнеобразные сгустки планктона в неводе, образуя один сложный организм. Но когда поезд въезжает на станцию, я уже могу выхватить разрозненные выкрики, яростные порывы желаний, вопли ненависти, угрызения совести, выделяющиеся из неясной общности, как отдельные мотивы из симфонии Малера. Сегодня восприятие у меня очень сильное. Я многое улавливаю. Определенно – лучший день на этой неделе. Возможно, причиной тому низкая влажность. Но не думаю, что снижение моих способностей прекратилось. Когда я начал лысеть, был у меня счастливый период, показалось, что процесс разрушения остановился, даже началось улучшение – над голым лбом появились новые темные пряди. Но после краткого всплеска надежды я пришел к убеждению, что никакого чудесного возрождения нет, волосы заново не вырастают. Был некий прилив гормонов, но потом все стало на свои места и шевелюра возобновила отступление. Так и в данном случае. Твердо знаешь, что в тебе что-то умирает, приучаешься не доверять мимолетному оживлению. Сегодня способность моя могуча, я отчетливо различаю все, а завтра не будет ничего, кроме мучительно-невнятного бормотания.

Во втором вагоне я нахожу место в углу, усаживаюсь и открываю книгу в ожидании прибытия в центр. Я перечитываю «Моллой умирает» Беккета¹. Эта вещь прекрасно подходит к моему настроению, к постоянному сожалению о самом себе, к которому, как вы могли заметить, у меня имеется определенная склонность.

«Время мое ограничено, – читаю я. – Ограничено потому, что в один прекрасный день, когда природа будет улыбаться, мученье отзовет свои черные коготы, печаль уйдет навеки. Положение мое поистине затруднительно. Какие прекрасные вещи, какие прекрасные мгнове-

¹ Беккет Сэмюэл – ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии. (Прим, ред.)

ния я теряю из-за страха, страха повторить старые ошибки, страха не успеть вовремя. Я боюсь веселиться, и все ради последнего часа, исполненного страдания, бессилия и ненависти. Много есть форм, где неизменное ищет освобождения от бесформенности».

О да, добрый Сэмюэл, у него всегда найдется одно-два слова унылого утешения.

Где-то в районе 180-й улицы я поднимаю глаза и вижу напротив, наискось от себя девушку, которая явно меня изучает. На вид ей лет двадцать с небольшим, внешне болезненная, но приятная: длинные ноги, маленькая грудь, копна рыжих волос. У нее тоже книга. Я прочел заглавие на обложке – «Улисс». Однако она не читает, книга лежит у нее на коленях. Почему она смотрит на меня? Я ее заинтересовал? Пока что я не проникал в ее мозг. Войдя в поезд, я автоматически застопорил прием – этой штуке я научился еще в детстве. Если бы я не изолировал себя от рассеянного шума в поездах или иных людных местах, я вообще не смог бы сосредоточиться ни на чем. И сейчас, не стараясь уловить сигналы ее мозга, я пробую угадать, что она думает обо мне. Я часто играю сам с собой в такую игру. Наверное, у нее такие мысли: «Как интеллигентно он выглядит... Должно быть, много страдал, его лицо гораздо старше, чем тело... В глазах его нежность, взгляд такой печальный... поэт, учитель... Ручаюсь, он очень чувственный... всю свою любовь вкладывает в физический акт, в слияние... А что он читает? Беккета? Да он поэт, он писатель... может, из знаменитых... Но я не должна быть слишком активной. Напористость его оттолкнет. Застенчивая улыбка – вот что привлечет его... Шаг за шагом... Я приглашу его на обед...»

А затем, проверяя точность своей интуиции, я настраиваюсь на волну ее мозга. Сперва никакого сигнала нет. Проклятье, моя убывающая сила опять подвела меня! Но вот она все-таки возвращается, сначала слышен низкий гул размышлений всех пассажиров, а затем пререзается и явственный тон души девушки. Что же я узнаю? Думает она о классе карате на 96-й улице, куда собралась пойти сегодня... У нее любовь с инструктором, рябым и смуглым японцем. Они встретятся вечером. Сквозь ее мозг проплывает воспоминание о запахе сакэ и о могучем нагом теле, навалившемся сверху. Обо мне там нет ничего. Я только часть фона, наравне со схемой линий метро над моей головой. Я замечаю, что у девушки действительно появляется застенчивая улыбка, но как только она видит, что я уставился на нее, улыбка сразу же исчезает. О Селиг, твой эгоцентризм всякий раз подводит тебя. Возвращаюсь к своей книге.

Поезд томит меня довольно долго непредвиденной стоянкой в тоннеле севернее 137-й улицы; затем он наконец трогается и доставляет меня на 116-ю, к Колумбийскому университету. Выхожу на дневной свет. В первый раз по этой лестнице я взобрался четверть века тому назад, в октябре 1951 года, испуганный выпускник средней школы, прыщеватый и коротко остриженный, приехавший из Бруклина для собеседования. В главном здании университета – вот так-то! – со мной разговаривал ужасно уверенный, зрелый, матерый экзаменатор, ему было добрых 24 года, а может быть, и 25. Как бы то ни было, меня приняли в колледж. А затем я стал бывать на этой станции метро ежедневно, начиная с сентября 1952 года, пока наконец не ушел из дому и не поселился ближе к кампусу. Раньше здесь находился старый металлический павильончик для спуска в подземный переход, расположенный между полосами движения, и студенты, эти рассеянные умы, погруженные в Кьеркегора, Софокла и Фицджеральда, всегда перебежали дорогу перед машинами, отчего многие гибли. Сейчас павильон снесли, выходы из метро расположены рациональнее, на боковых дорожках.

И вот я иду по 116-й улице. Справа широкий газон Южного поля, слева невысокие ступени, ведущие к Нижней библиотеке. Я еще помню, когда Южное поле было спортивной площадкой в центре кампуса – бурая грязь, дорожки, изгороди... На первом курсе я играл здесь в софтбол. У нас были шкафчики в гимнастическом зале, мы там переодевались, а затем в тапочках, майках, обтрепанных шортах, чувствуя себя просто голыми среди прочих студентов в форме или комбинезонах, мчались вниз по бесконечной лестнице на Южное поле, чтобы часочек побегать на свежем воздухе. Я считался хорошим игроком. Не за мускулы, а за быст-

роту реакции и верный глаз. У меня ведь было преимущество: я мог угадывать, что на уме у подающего. Вот он стоит и думает: «Этот парень тощий, он не ударит как следует, дам-ка я ему повыше да посильнее», а я уже готов принять такой мяч, отбить налево и перебежать, прежде чем кто-нибудь понял, что произошло. Противник пробовал менять тактику, но я перемещался безошибочно, встречал низкий мяч, начинал двойную игру. Конечно, это был только софтбол, но мои сокурсники, увальни, не могли толком и бегать, не говоря уже о чтении мыслей. Я наслаждался неофициальной репутацией выдающегося атлета и позволял себе в мечтах стать игроком средней линии у «Доджеров». Помните «Доджеров» из Бруклина?

А когда я был на втором курсе, Южное поле превратили в прекрасный зеленый парк, рассеченный мощеными дорожками. Это было сделано в честь 200-летия университета в 1954 году. Боже, так давно... и я старею... «Я старею. Засучу-ка брюки поскорее... Я слышал, как русалки пели, теща собственную душу. Их пенье не предназначалось мне².

Поднявшись по ступенькам, я усаживаюсь примерно в пятнадцати футах от бронзовой статуи alma mater. Здесь мое пристанище в хорошую погоду. Студенты знают, где меня найти, и, когда я прихожу, слух распространяется быстро. Есть еще пять или шесть человек – в основном безденежные студенты, но я – самый быстрый и надежный, у меня есть поклонники. Сегодня, однако, бизнес начинается неудачно. Я сижу уже минут двадцать, беспокоюсь, поглядываю в Беккета, смотрю на статую. Несколько лет назад какой-то радикал бомбой проделал дыру в ее боку, но сейчас не видно никакого следа. Помню, тогда я был шокирован, а затем шокирован тем, что был шокирован – почему это я должен возмущаться из-за тупой и глупой статуи, символизирующей тупую школу? Когда это было? В 1969-м, кажется? Ну да, во времена неолита.

– Мистер Селиг?

Надо мной нависает огромный черный молодец. Широкие плечи, круглые щеки, невинные глаза. У бедняги чрезвычайные трудности. Он записался на курс общей литературы и должен срочно сдать сочинение о Кафке, которого он, конечно, не читал. (Сейчас футбольный сезон, сам он полузащитник и очень занят.) Я называю свои условия, он сразу соглашается. Пока он стоит рядом, я бегло зондирую его мысли, чтобы оценить знания, словарный запас, стиль. Парень умнее, чем выглядит. В большинстве все они такие. Вполне могли бы сами писать свои сочинения, будь у них время. Я делаю для себя заметки, записываю впечатления, и он удаляется ошарашенный. Торговля – дело живое. Этот пришлет брата-студента, тот пошлет друга, друг пошлет кого-то из своих сокурсников, цепочка будет все удлиняться, веночек – сплетаться, и в результате однажды рано утром окажется, что я получил все заказы, которые способен выполнить. Я знаю свои возможности. Так что все в порядке. Две или три недели я буду есть регулярно, мне не придется терпеть снисходительность собственной сестры. Джудит будет рада не слышать обо мне... Теперь домой, начнем духовную жизнь. Я хорош – красноречив, серьезен, глубок – на уровне второго года обучения – и могу варьировать стиль. Я проходил литературу, психологию, антропологию, философию и прочие гуманитарные предметы. Благодарю Бога за то, что сохранились мои курсовые работы: даже двадцать лет спустя на них можно зарабатывать. Я беру три с половиной доллара за машинописную страницу, иногда больше, если мысли клиента выдают мне, что у него есть деньги. Гарантируется оценка не меньше, чем «Б+». Если хуже, платы не беру. Но брака у меня не было еще ни разу.

² Пер. А. Сергеева. (Прим. ред.)

Глава 2

Дэвиду было тогда семь с половиной лет, он доставлял очень много хлопот своему учителю, и его решили послать для обследования к школьному психиатру – доктору Гиттнеру. Школа, расположенная на тихой зеленой улице в парковой зоне Бруклина, была дорогая, частная с ориентацией социалистически-прогрессивной и некоторой склонностью к марксизму, фрейдизму и джон-дьюизму³, и психиатр, специалист по отклонениям у детей среднего класса, за особую плату по средам вдумывался в суть обыкновенных детских проблем. На этот раз подошла очередь Дэвида. Родители, разумеется согласились, их очень заботило поведение ребенка. Все говорили, что мальчик у них необыкновенный, развит не по годам, читает как двенадцатилетний, взрослые только-только не пугались его смышленности. Но в классе он грубил, не слушался, никого не уважал. Школьные знания, безнадежно элементарные, были для него отчаянно скучны. Дружил он только с неудачниками и обращался с ними жестоко. Большинство детей ненавидели Дэвида, учителя боялись его непредсказуемости. Однажды он перевернул огнетушитель в коридоре, чтобы посмотреть, будет ли тот разбрызгивать пену. Разумеется, огнетушитель сработал. Он часто приносил в класс полосатых змеек и на уроке пускал их ползать по полу, передразнивал всех учеников и даже учителей, весьма, надо сказать, похоже.

– Доктор Гиттнер хочет поговорить с тобой, – сказала ему однажды мать.

Дэвид заупрямился, придравшись к фамилии психиатра.

– Гитлер? Гитлер? Я не хочу разговаривать с Гитлером!

Дело было в конце 1942 года. Каламбур напрашивался сам собой.

– Гитлер хочет познакомиться со мной? Не хочу! Не буду! Я боюсь Гитлера.

– Не Гитлер, Дэвид. Гиттнер, Гиттнер, через букву «н», – уговаривала мать.

В конце концов Дэвид отправился в приемную психиатра, и, когда тот добродушно улыбнулся, здороваясь, мальчик выбросил вперед руку и гаркнул: «Хайль!»

Доктор Гиттнер терпеливо усмехнулся. Вероятно, эту шутку он слышал тысячи раз.

– Ты ошибся, – сказал он. – Я – Гиттнер, через букву «н».

Он был крупным мужчиной с длинным лошадиным лицом, высоким покатым лбом, мясистыми губами. За очками без оправы сверкали водянисто-голубые глаза. Кожа у него была мягкая, розовая. Он все время улыбался и старался выглядеть дружелюбным, этаким старшим братом, но Дэвид чувствовал, что это братское дружелюбие искусственное, сплошное притворство. Нечто подобное он ощущал у многих взрослых; они старательно улыбались, но про себя думали: «Экий скверный ребенок, гаденыш вонючий!» Даже его отец и мать иногда думали такое. Он не понимал, почему в лицо взрослые говорят одно, а про себя думают совсем другое, не понимал, но привык и принимал как должное.

– Сейчас мы с тобой поиграем, – сказал доктор Гиттнер. Он извлек из кармана пластиковый шарик на металлической цепочке, показал его Дэвиду, затем нажал на цепочку, и шарик распался на восемь или девять кусочков разного цвета. – Теперь следи внимательно за тем, как я буду их собирать. – Его толстые пальцы умело составили шарик, после чего он рассыпал его снова и протянул через стол Дэвиду. – Твоя очередь. Сумеешь?

Дэвид запомнил, что доктор начал с белого кусочка, похожего на букву «Е», потом взял синий вроде буквы «D», но забыл, что с ним делать. С минуту он сидел озадаченный, пока доктор сам не помог ему мысленной подсказкой. Он же не знал, что Дэвид может заглядывать в чужие мысли. Раза два мальчик ошибся, воткнул детальку не туда, но всякий раз выуживал правильный ответ из головы доктора.

³ Дьюи Джон (1859–1952), американский философ-идеалист, один из ведущих представителей прагматизма. Идеолог «американского образа жизни».

«И почему он считает, что испытывает меня, – думал при этом Дэвид, – если каждый раз дает подсказку? Что он хочет доказать?»

Собрав шарик, мальчик вернул его доктору.

– Хочешь, я подарю его тебе? – спросил Гиттнер.

– Мне он не нужен, – отказался Дэвид. Но потом все-таки сунул шарик в карман.

Затем пошли картинки с животными, птицами, деревьями и домами. Дэвид должен был разложить их так, чтобы получилась связная история. Он разбросал картинки наудачу по столу и сочинил такой рассказ: «Утка пошла в лес, встретила волка, превратилась в лягушку, чтобы спастись, перепрыгнула через волка и попала прямо в пасть к слону, но увернулась от его клыков и нырнула в озеро. А когда вылезла, увидела прекрасную принцессу. Принцесса сказала: «Я дам тебе пряник». Но лягушка умела читать мысли и догадалась, что на самом деле это не принцесса, а злая ведьма, которая...»

В следующей игре были куски бумаги с большими чернильными пятнами. «На что это похоже?» – спросил доктор. Дэвид сказал: «Это слон, а это его хвост, а тут все скомкано, тут клык, а этим он делает пипи». И здесь он заметил, что, когда речь пошла о клыках и пи-пи, доктору Гиттнеру стало интересно. Так что он постарался угодить, находя подобные вещи в каждом пятне. Ему самому казалось, что игра эта глупая, но, видимо, для доктора она была очень важна, поскольку тот записывал все, что говорил мальчик. А пока психиатр записывал, Дэвид рылся у него в голове и выбирал слова, которыми мать называла по-взрослому некоторые части тела: «пенис», «вульва», «ректум». Очевидно, доктору Гиттнеру очень нравились подобного рода выражения, и Дэвид решил использовать их: «Вот пенис орла, а тут ректум овцы. А на следующем пятне мужчина и женщина голые, и он старается вставить свой пенис в ее вульву, но пенис велик, не подходит». Дэвид видел, что ручка доктора так и летает по бумаге, усмехнулся про себя и в очередной картинке тоже усматривал сплошные пенисы.

Затем они играли в слова. Доктор называл какое-либо слово и предлагал Дэвиду сказать первое, что придет ему в голову. Мальчик же решил облегчить себе задачу, называя то, что приходит в голову доктору. Тот, видимо, не замечал, откуда выуживаются ассоциации. Игра шла примерно так:

- Отец.
- Пенис.
- Мать.
- Кровать.
- Ребенок.
- Мертвый.
- Вода.
- Живот.
- Туннель.
- Лопата.
- Гроб.
- Мать.

Разве это были неправильные слова? И кто выиграл в этой игре? И почему доктор так расстроился?

Под конец они прекратили играть и стали просто беседовать.

– Ты очень умный мальчик, – сказал доктор. – Я не стесняюсь похвалить тебя вслух, ты и сам это знаешь. Ну, а кем же ты хочешь стать, когда вырастешь?

- Никем.
- Никем?
- Я хочу только играть, читать книжки и купаться.
- Но как ты будешь зарабатывать себе на жизнь?

- Возьму у людей, когда нужно будет.
 - А как возьмешь? Открой мне свой секрет. И вообще, тебе хорошо в школе?
 - Нет.
 - Почему нет?
 - Учителя строгие, учиться скучно. Ребята не нравятся.
 - А ты понимаешь, почему не нравятся?
 - Да потому, что я умнее. Потому, что я... – он чуть не сказал: «потому что я вижу, что они думают», но вовремя сообразил, что этого не надо говорить никому.
- Доктор Гиттнер ждал, пока Дэвид закончит фразу.
- Потому, что я мешаю всем в классе.
 - А почему, Дэвид?
 - Не знаю. Надо же что-нибудь делать.
 - Может быть, если ты не станешь мешать, к тебе будут лучше относиться? Хочешь, чтобы люди любили тебя?
 - Мне это не нужно.
 - Друзья нужны каждому, Дэвид.
 - У меня есть друзья.
 - Миссис Флейшер сказала, что у тебя мало друзей, ты их бьешь, обижаешь. Зачем ты бьешь друзей?
 - Я их не люблю. Они глупые.
 - Тогда это не настоящие друзья.
- Вздвогнув, Дэвид сказал:
- Я могу обойтись без них. Я сам себя занимаю.
 - А дома тебе хорошо?
 - Да.
 - Ты любишь папу и маму?
- Пауза. Чувствуется давление мозга доктора. Это самый важный вопрос, Дэви. Дай правильный ответ! Дай ответ, который он хочет.
- Да.
 - Хотел бы ты брата или сестричку?
 - Нет! (Без промедления.)
 - В самом деле? Ты хочешь быть всегда одиноким?
- Дэвид кивнул.
- Да, хочу! После школы самое лучшее время. Я прихожу, и дома никого нет. Зачем мне маленький брат или сестра?
- Доктор усмехается.
- Верно, зачем. Но, может быть, это нужно папе или маме. И тогда, как знать, тебе тоже захочется? И они постараются, хотя на самом деле...
- Дэвид внезапно понимает, что доктор в затруднении.
- А если я скажу твоим родителям, что для тебя полезно было бы иметь брата или сестру? – спрашивает он, на этот раз без улыбки.
 - Не знаю. – Эту мысль я нащупал в твоей голове, доктор. А теперь я хочу уйти. Больше не буду говорить с тобой. – Послушай, а ты ведь не Гиттнер на самом деле. Нет у тебя никаких «н». Хайль!

Глава 3

Я никогда не мог передавать свои мысли другим, даже когда моя сила была максимальной. Я не мог транслировать, мог только принимать. Может быть, другие люди способны передавать мысли даже тем, у кого нет этого дара, но я к таким не принадлежу. Я приговорен к тому, чтобы быть злым уродом, слушачом, шпионом. Старая английская пословица гласит: «То, что в шелку видно, для тебя обидно». Да, это так. В те годы я хотел откровенно общаться с людьми и пролил немало пота, чтобы внедрить в них свои мысли. Сидел в классной комнате, уставившись на затылок одной девочки, и натужно думал: «Алло, Энни, это Дэвид Селиг зовет тебя, ты слышишь? Ты слышишь? Я люблю тебя, Энни. Точка. Перехожу на прием». Но Энни не услышала меня, ни разу, мысли в ее головке текли, как в ленивой реке, ничуть не потревоженные существованием Дэвида Селига.

Моя сила проявляет себя самыми различными способами. Я никогда не мог контролировать ее полностью, умел только снижать интенсивность приема и улучшать настройку. Чаще я принимал поверхностные мысли, которые человек готов был высказать. Они и приходили ко мне в разговорной манере, словесной, только тон был иной, не в точности соответствовал голосу. Не помню, чтобы когда-нибудь, даже в детстве, я спутал сказанное вслух или произнесенное мысленно. Это умение читать поверхностные мысли никогда меня не подводило. Я и сейчас почти безотказно принимаю слова, особенно у тех, кто репетирует про себя то, что намерен сказать вслух.

Я могу также, до некоторой степени, воспринимать сиюминутные желания: например, желание нанести удар в челюсть. Узнаю я это по-разному. Могу воспринять точное словесное утверждение: «Я сейчас двину правой ему в челюсть» или же, если сила моя в этот день работает на глубоком уровне, улавливаю серию безмолвных инструкций мускулам, чтобы они за долю секунды подняли правую руку и нанесли короткий удар. Назовите это, если хотите, телепатическим языком тела на волновом уровне.

И еще одна моя способность, которая проявляется отнюдь не каждый раз. Я могу уловить тональность самых глубоких пластов мозга, где, вероятно, обитает душа. Сознание там погружено в туманный раствор нечеткого подсознания. Здесь прячутся надежды, страхи, склонности, стремления, страсти, воспоминания, философские позиции, моральные правила, голод, печаль, весь багаж событий и отношений, который и определяет личность. Обычно некоторые из этих ран сердечных доходят до меня и при самом поверхностном ментальном контакте; даже разговаривая, я не могу удержаться, чтобы не заглянуть внутрь и не получить информацию о колорите души. Но иногда я закидывал свой невод в самую глубь, исследовал личность в целом. В этом есть какое-то особенное наслаждение. Электрический разряд контакта. Соединенный, конечно, с неясным болезненным чувством вины за подсматривание. К счастью, душа говорит на универсальном языке. Заглянув, скажем, в мозг миссис Эсперансы Домингес, я услышал бормотанье по-испански и, собственно говоря, не узнал, о чем она думает словами, поскольку я плохо понимаю испанский. Но, забираясь в душу поглубже, я получаю о ней полное представление. Мозг может думать на испанском, баскском, венгерском или финском, но душа изъясняется на бессловесном языке, понятном трусливо подглядывающему монстру.

Впрочем, не имеет значения. Сейчас это все от меня уходит.

Глава 4

*Пол. Ф. Бруна
Общ. Лит. 18. Проф. Шмитц
15 октября 1976*

Романы Кафки

В кошмарном мире «Процесса» и «Замка» четко обрисована только центральная фигура, многозначительно обозначенная инициалом «К», приговоренная к неизбежной казни. Все остальное неясно и похоже на сон: комнаты замка превращаются в дома, таинственные стражи пожирают завтраки, человек, которого называют Сордини, на самом деле Сортини. Главное, однако, бесспорно: К. потерпит поражение в своих попытках добиться помилования.

У обоих романов одна и та же тема и приблизительно одинаковая структура. В обоих К. пытается добиться снисхождения и в конце концов приходит к осознанию, что в этом ему отказано («Замок» не закончен, но его развязка не вызывает сомнения). Кафка подводит своих героев к борьбе с обстоятельствами по-разному. В «Процессе» Иосиф К. пассивен, к действию его побуждает неожиданное появление двух стражей; в «Замке» К. сперва изображен как активный персонаж, он самостоятельно предпринимает попытки добраться до таинственного замка, но активность изменяет ему, и он становится таким же пассивным, как Иосиф К. Различие в том, что «Процесс» начинается на более ранней стадии развития, «Замок» же следует древнему правилу *«in media res»*⁴, здесь К. уже приглашен в Замок.

В обеих книгах происходит стремительная завязка. Иосиф К. арестован на первой же странице «Процесса», а его двойник появляется как бы на последней ступени на пути к Замку. Оба стремятся к своим целям (в «Замке» нужно просто добраться до вершины холма, в «Процессе» – сначала понять суть обвинения, а затем, отчаявшись получить ответ, все же добиться оправдания). Но в действительности каждый шаг уводит героев все дальше от цели. «Процесс» достигает кульминации в чудесной сцене в соборе, возможно, самой страшной и простой в творчестве Кафки, в которой Иосифу К. дают понять, что он виновен и никогда не будет помилован; последующая глава, описывающая казнь К., – не более чем нисходящее добавление. В «Замке», менее законченном, чем «Процесс», нет эпизода, аналогичного сцене в соборе (может быть, Кафка не сумел создать его), этот роман с художественной точки зрения удовлетворяет нас меньше, чем короткий, более энергичный, крепче, если можно так выразиться, сбитый «Процесс».

Несмотря на внешнюю незатейливость, оба романа построены на основной трехчастной структуре трагедийного сюжета, сформулированного критиком Кеннетом Бэрком, как «цель, страсти, примирение». «Процесс» следует этому правилу тверже, чем незавершенный «Замок»: цель – добиться оправдания – выявляется в испытаниях, через которые довелось пройти герою в столкновениях с другими персонажами. И в конце концов, когда К. уступил, отказался от своей первоначальной непокорной самоуверенности, сделался робким и боязливым, готовым капитулировать перед силами Суда, приходит час окончательного смирения – примирения.

В кульминацию героя вводит классическая кафкианская фигура – таинственный коллега-итальянец, впервые приехавший в город и имеющий влиятельные связи, благодаря чему он был важен для банка. Через все произведения Кафки проходит тема некоммуникабельности людей, она повторяется и здесь; хотя Иосиф перед визитом полночи не спит, изучая ита-

⁴ В гуще событий (*лат.*).

льянский, и в результате является на прием полусонный, оказывается, что иностранец говорит на южном диалекте, которого Иосиф не знает. А затем – коронный комический ход – иностранец переходит на французский, но и на французском его понять трудно, а кустистые усы коллеги препятствуют стараниям Иосифа разобрать слова по движению губ. И вот осужденный прибывает в собор, куда его пригласили, чтобы показать иностранцу (который, что не удивляет нас, всегда опаздывает), напряжение растет, Иосиф идет через здание, пустое, темное, холодное, освещенное только свечами, трепещущими где-то в отдалении. Между тем снаружи, неизвестно почему, ночь отступает. Священник обращается к главному герою и рассказывает притчу о Привратнике. И только когда история закончена, мы чувствуем, что не поняли ее вовсе; это не просто сказка, как представлялось первоначально, она и сложна и трудна. Иосиф и священник долго обсуждают притчу, словно ученики раввина, толкующие строку Талмуда. Смысл ее медленно доходит до нас, и мы вместе с Иосифом понимаем, что свет, рвущийся из двери, мы увидим лишь тогда, когда будет уже слишком поздно.

В сущности, здесь роман заканчивается. Иосиф получил окончательное решение, понял, что оправдание невозможно; вина установлена, его не помилуют. Вопрос закрыт. Финальный элемент трагедийного триединства; решение суда завершает страсти, в итоге – смирение, примирение.

Мы знаем, что Кафка хотел написать и продолжение – главы, изображающие чувства Иосифа после суда, более поздние сцены, вплоть до казни. Биограф Кафки Макс Брод говорит, что книга могла бы продолжаться бесконечно. Это, без сомнения, верно, вина Иосифа К. такова, что он никогда не дойдет до Высшего суда, так же как и другой К. мог странствовать вечно, никогда не добравшись до Замка. Но по структуре своей роман кончается в соборе; все остальное, что Кафка собирался написать, не добавило бы ничего к самопознанию Иосифа. Сцена в соборе показывает нам то, что мы знали с самого начала: оправдания нет. Действие завершено приговором.

«Замок» много длиннее и хуже построен, в нем нет силы «Процесса». Нет прямоты. Стремления К. определены не так ясно, характер у него не такой четкий, психологически не так интересен, как в «Процессе». В то время как в первой книге герой приступает к активным действиям, лишь только узнав об опасности, в «Замке» он быстро становится жертвой бюрократии. В «Процессе» Иосиф К. переходит от пассивности к активности вначале и снова возвращается к пассивности после прозрения в соборе. В «Замке» же нет столь резких переходов; герой активен только в первых главах романа, но вскоре он теряется в кошмарном лабиринте деревни под Замком, деградирует все глубже и глубже. Иосиф К. почти героический характер, тогда как К. едва ли даже и патетический.

Две эти книги рассказывают, в сущности, одну и ту же историю, повествуют о практически свободном человеке, внезапно оказавшемся в безвыходной ситуации, который, после нескольких попыток добиться снисхождения, в конце концов подчиняется. «Процесс», без сомнения, величайшая художественная удача, это четко выстроенное произведение, каждая его ступень под контролем автора. «Замок», или, скорее, тот его фрагмент, который находится в нашем распоряжении, потенциально – более крупный роман. Все, что было в «Процессе», было бы и в «Замке», и даже сверх того, но чувствуется, что Кафка уклонялся от работы над «Замком», потому что не мог довести его до конца. Он не мог охватить весь мир Замка с его бесконечным деревенским окружением в стиле Брейгеля, изобразить его с такой же уверенностью, как урбанистический мир «Процесса». Отсюда недостаток определенности в романе; мы не слишком уверены, что осуждение К. неизбежно. Что же касается К., то, хотя он и борется против более осязаемых сил, но до самого конца у нас остается иллюзия, что победа возможна. «Замок» чересчур громоздок. Как симфония Малера, он рушится под собственным весом. Некоторые критики предполагают, что по замыслу Кафки роман вообще не должен иметь конца. Может быть, К. суждено вечно странствовать по все расширяющимся кругам, так и не

придя к трагичному заключению. Возможно, здесь лежит причина сравнительной бесформенности этой поздней работы писателя; находка Кафки именно в том, что истинная трагедия К., его архетипического героя-жертвы, не в понимании невозможности добиться милости, а в том, что он никогда даже не сделал такого вывода. Здесь перед нами трагедийный ритм, литературное обрамление подлинной жизни, созданное с целью точнее указать на современное положение человека, положение, столь ненавистное Кафке. Иосиф К., действительно обретающий своего рода помилование, – фигура поистине трагическая. С другой стороны, К., падающий все ниже и ниже, являлся для Кафки скорее символом рядовой современной личности, столь подавленной общим влиянием времени, что она даже не способна быть личностью. К. – патетическая фигура, Иосиф К. – трагическая. Как характер Иосиф К. интереснее, но, возможно, К. автор представлял себе более глубоко. И истории К. конец вообще невозможен, если не считать концом смерть.

Неплохо. Шесть страничек на машинке, по три с половиной доллара за каждую. Итак, я заработал 21 доллар за каких-нибудь два часа, а черный полузащитник мистер Пол. Ф. Бруна наверняка заработает у профессора Шмитца «Б+». Я уверен в этом, потому что именно это сочинение, лишённое, правда, избыточной витиеватости, позволило мне добиться «Б» от очень требовательного профессора Дьюпи в мае 1955 года. Сейчас, после академической инфляции, требования ниже. Бруна может отхватить даже «А-» за мою работу о Кафке. В ней как раз надлежащее достоинство серьёзного исследования в сочетании с философским взглядом и наивным догматизмом. В 1955 году Дьюпи нашел сочинение «ясным и сильным», так и написал на полях. Порядок. Пришло время подзаправиться. Может быть, приготовить яичницу? А затем я возьмусь за следующую работу: «Одиссей как выразитель своей эпохи. Или же за другое: «Эсхил и трагедия Аристотеля». Опять смогу использовать свои собственные сочинения, работенка несложная. Старая машинка стоит на столе – рухлядь, но еще в хорошем состоянии.

Глава 5

Олдос Хаксли считал, что в процессе эволюции наш мозг приспособился к тому, чтобы стать фильтром, экранирующим массу сигналов, бесполезных для нас в ежедневной борьбе за хлеб насущный. Видения, мистические опыты, телепатические послания чужого мозга и тому подобное всегда текли бы к нам, если бы не действие того, что Хаксли назвал «церебральным клапаном-гасителем» в своей маленькой книжке, озаглавленной «Небо и ад». Благодарите Бога за этот церебральный клапан-гаситель! Если бы не он, нас беспрерывно отвлекали бы сцены невероятной красоты, духовные прозрения ошеломляющего величия и обжигающий, совершенно искренний контакт мозга с мозгом. К счастью, работа клапана защищает разум от подобных вещей и освобождает его для каждодневной заботы: подешевле купить, подороже продать.

Конечно, некоторые из нас рождаются с дефектным клапаном. Я имею в виду таких художников, как Босх или Эль Греко, чьи глаза видят мир не таким, как мы с вами; или философов-мечтателей, преданных экстазу или нирване. И несчастных уродов, которые могут читать чужие мысли. Все мы мутанты. Прихоти генетики.

Хаксли уверял, однако, что действие церебрального клапана может быть ослаблено искусственно, что дает возможность обыкновенным смертным получать экстрасенсорные сообщения, как правило, доступные лишь немногим избранным. Он считал, что такой эффект создают некоторые психоделические наркотики. Так, он предполагал, что мескалин, вторгаясь в систему гормонов, регулирующих церебральные функции, снижает эффективность мозга как инструмента, фокусирующего внимание только на житейских проблемах нашей планеты. Это, кажется, и позволяет войти в сознание некоторым событиям из разряда недоступных в обычных условиях, потому что они не имеют цены для выживаемости. Подобные вторжения бесполезны биологически, но ценны эстетически, а иногда и духовно. Они могут войти в мозг в результате болезни или усталости, во время поста или нахождения в тюрьме, во тьме и при полном молчании.

Что же касается Дэвида Селига, об этих препаратах ему сказать почти нечего. Он только однажды рискнул попробовать наркотик и особого удовольствия не испытал. Произошло это летом 1968 года, когда он жил с Тони.

Хотя Хаксли высоко ставил галлюциногены, он не считал их единственными воротами в мир видений. Пост и умерщвление плоти могут действовать точно так же. Хаксли писал о мистиках, которые постоянно истязали себя кожаными плетями и даже проволокой. Такие пытки – эквивалент шокового лечения без анестезии, его воздействие на биохимию страдальца значительно. Когда кнут хлещет тело, организм выделяет большие количества гистамина и адреналина, а в дальнейшем, при загноении ран (а раны всегда гноились, пока не наступила эпоха мыла), разлагающийся белок выделяет токсические вещества, которые проникают в кровяной поток. Но гистамин вызывает шок, а шок действует не только на тело, но и на мозг. Кроме того, большое количество адреналина может породить галлюцинации, а некоторые продукты его распада – симптомы, напоминающие симптомы шизофрении. Что же касается токсинов, попадающих в кровь, они нарушают систему гизимов, регулирующих работу мозга, и снижают его эффективность как инструмента для выживания в мире приспособленных. Этим можно объяснить, почему кюре д'Ар говорил, что Бог ни в чем не отказывает ему, когда он бичует себя без жалости. Другими словами, когда укору совести, самоосуждение и страх перед адом способствуют выделению адреналина, когда болевая терапия высвобождает адреналин и гистамин, когда из зараженных ран в кровь попадают протеины, снижается надежность церебрального клапана и незнакомые проявления вольного мозга (включая псифеномены, видения и, при достаточной философско-этической подготовке, даже мистические явления) проникают в сознание аскета.

Итак, угрызения, самоосуждение и страх Ада. Посты и молитвы. Плетки и цепи. Гноящиеся раны. Все годится! Поскольку сила моя угасает во мне, умирает мой священный дар, я ношусь с идеей восстановить его искусственно. ЛСД, мескалин, псилосибин? Не думаю, что я вынесу это снова. Умерщвление плоти? Старомодно, как четки или крестовый поход, такое просто неуместно в 1976 году. И сомневаюсь, что буду бичевать себя всерьез. Что же остается? Поститься и молиться? Полагаю, поститься я могу. Но молиться? Кому? О чем? Я чувствую себя дураком. Боже милостивый, верни мне мою силу! Святой Моисей, пожалуйста, помоги! Чепуха. Евреи не выпрашивают дары, поскольку знают, что никто не ответит. И что же остается? Угрызения, самоосуждение и страх перед адом? Все было, было и к добру не привело... Надо найти другой путь, изобрести что-нибудь новое. Истязание мозга? Попробую. Размахнусь метафорической дубиной. Буду истязать себя болью, размягчать волнениями мозг. Предательский, ненавистный мне мозг.

Глава 6

Но почему, собственно, Дэвид Селиг хочет, чтобы к нему вернулась его сила? Она всегда была для него проклятием. Она отрезала его от мужчин и обрекала на жизнь без любви. Оставьте ее в покое, Дэвид! Пусть себе гаснет. Пусть гаснет! Но, с другой стороны, что ты такое без своего особенного дара? Без этого смутного, непредсказуемого, ненадежного контакта с людьми как ты сможешь общаться с ними вообще, Дэвид? Твой особый дар связывает тебя с ними – к лучшему или к худшему, к добру или ко злу; это твой единственный способ общения, ты не перенесешь его утраты. Согласись, ты его любишь и презираешь, этот свой дар. Ты боишься потерять его, несмотря на весь вред, который он причинил. Ты цепляешься за последние его крохи, хотя знаешь, что борьба твоя безнадежна... Ну, борись тогда. Перечитывай Хаксли. Попробуй, если осмелишься, ЛСД. Попробуй самобичевание. Попробуй хотя бы поститься... Хорошо, пусть будет пост. Отменим жратву. Отменим яичницу с ветчиной... Заложим чистую страничку в пишущую машинку и будем думать об Одиссее как выразителе своей эпохи.

Глава 7

Заливистая трель телефона. Час поздний. Кто звонит? Не Олдос ли Хаксли из могилы убеждает меня не терять мужества? Или доктор Гиттнер со своими важными вопросами насчет пи-пи? Или Тони, она рядом, с тысячей порций взрывного наркотика, хорошо бы настроиться. Верно, верно! Я уставился на телефон, ни о чем не догадываясь. Сила моя, даже в лучшие времена, не могла проникнуть в сознание «Америкэн телеграф энд телефон компани». Вздыхая, снимаю трубку после пятого звонка и слышу сладкое контральто моей сестры Джудит.

– Я тебе помешала? – такое вот, типичное для Джудит приветствие.

– Тихий домашний вечер. Подвигаю себя на сочинение об Одиссее. У тебя какие-нибудь идеи на мой счет, Джуди?

– Ты не звонил мне уже две недели.

– Я завязал. После той сцены в прошлый раз не хочу говорить о деньгах, а в последнее время это была единственная тема, вот я и не звонил.

– Ерунда, – говорит она. – Я не сердилась на тебя.

– Ну да, ты просто бесилась.

– Я не имела в виду ничего такого. Почему ты думаешь, что я злилась всерьез? Потому что я орала? Неужели ты в самом деле поверил, что я считаю тебя... как... как я назвала тебя?

– Губкой беспомощной.

– Беспомощной губкой? Бред. Я была на взводе в ту ночь, Дэви. У меня были свои проблемы, и к тому же месячные подошли. Я потеряла равновесие. Порола всякую чушь, все, что приходило на язык, но почему ты поверил, что я так думаю всерьез? С каких это пор ты считаешь, что сказанное вслух имеет цену?

– Но ты и про себя думала так, Джуди.

– Про себя? – В ее голосе слышится смущение. – Ты уверен?

– Это прозвучало, громко и отчетливо.

– О боже! Дэви, имей же жалость. Когда распалишься, в голову лезет сущий бред. Но за злобой ты же должен видеть, что я не злюсь на тебя. Что я люблю тебя, не хочу, чтобы ты меня бросил. Ты – все, что есть у меня, ты и мой малыш.

Ее любовь не в моем вкусе, а сентиментальность – и того хуже.

– Я больше не читаю то, что «про себя», Джуди. Да и мало интересного произошло в эти дни. Как бы то ни было, не стоит кипятиться по этому поводу. Я действительно губка беспомощная, и я на самом деле занимал у тебя больше, чем ты можешь давать. Братец-козлице чувствует себя виноватым. Будь я проклят, если я когда-нибудь еще попрошу у тебя деньги.

– Виноватым? И ты говоришь о вине, когда я...

– Нет, – прерываю я ее. – Не надо явки с повинной, Джуди. Не теперь. – Ее возвращение к холодности мне даже приятнее, чем новообретенная любовь. – Я не склонен рассуждать о грехах и провинностях на ночь глядя.

– Ну хорошо, хорошо. Но сейчас у тебя хотя бы благополучно с деньгами?

– Я же сказал. Подвигаю себя на сочинение. Зарабатываю.

– А когда закончишь, может, придешь ко мне на ужин? Скажем, завтра?

– Лучше я поработаю. У меня куча заказов, Джуди. Сезон.

– Мы будем вдвоем, Дэви. И ребенок, конечно, но я уложу его пораньше. Только ты и я. Нам много о чем нужно поговорить. Почему мы должны чураться друг друга, Дэви? Разве тебе необходимо работать день и ночь? Я приготовлю что-нибудь из того, что ты любишь. Например, спагетти с горячим соусом. Только скажи. – Она умоляет, та самая сестра, которая ненавидела меня целых двадцать пять лет. Вернись, и я буду твоей мамой. Приди и позволь мне любить тебя, брат.

– Может быть, послезавтра. Я позвоню тебе.

– А завтра никак?

– Не думаю, – возникает пауза. Она не хочет упрашивать. Молчание тяготит меня, и я говорю: – Что с тобой, Джуди? Появился кто-то интересный?

– Я ни с кем не встречаюсь вообще. – В ее голосе звучат стальные нотки. Она в разводе два с половиной года, спит с кем попало, но на душе у нее кошки скребут. Ей уже 31 год. – Можно сказать, перерыв. Пожалуй, хватит с меня мужчин. Мне все равно, и трахаться как-то не тянет.

Я усмехаюсь.

– А что с тем агентом из бюро путешествий? Микки, кажется?

– Марти. Ну, это был просто фокус. Он прокатил меня по Европе за 10 процентов стоимости. Иначе я не могла бы съездить. Я использовала его.

– Да?

– Меня тошнит от Марти. Я порвала с ним на днях. Я не любила его. Вряд ли он мне даже нравился.

– Но сначала ты довольно долго крутила с ним ради Европы.

– Я ничуть не дорожила им, Дэви. Я должна была лечь с ним в постель, а он должен был заполнить форму. Ну, и что ты скажешь? Что я шлюха?

– Джуд...

– Ладно, я шлюха. По крайней мере, я временами стараюсь быть хорошей. Апельсиновый сок и серьезные разговоры. Поверишь ли, я читаю Пруста?! Сейчас я закончила «По направлению к Свану», а завтра...

– Я должен еще поработать сегодня вечером, Джуди.

– Извини. Я не хотела мешать. Но ты придешь обедать на неделе?

– Подумаю. И дам тебе знать.

– За что ты так ненавидишь меня, Дэви?

– С чего ты взяла? Кажется, нам уже пора слезть с телефона.

– Не забудь позвонить, – говорит она. Хватается за соломинку.

Глава 8

Тони. Теперь я должен рассказать вам о Тони.

Мы прожили с Тони семь недель, восемь лет тому назад. Это долго. Только с родителями и с сестрой я жил дольше и ушел от них, как только смог. С самим собой я жил еще дольше, но от себя вообще не уйдешь... В жизни у меня было два увлечения, Тони – одно из них. Второй была Китти. О Китти я расскажу в другой раз.

Могу ли я описать Тони? Попробую – коротко, в нескольких словах. Ей было тогда 24 года. Игривая девушка, высокая, рост пять футов шесть дюймов или пять и семь. Стройная. Проворная и неловкая одновременно. Длинные ноги, длинные руки, тонкие кисти, тонкие лодыжки. Блестящие черные волосы, очень гладкие, рассыпанные каскадом по плечам. Теплые живые карие глаза, бойкие и лукавые. Остроумная, пронизательная, не слишком образованная, но умница. Лицо не идеально правильное: слишком крупный рот, большой нос, чересчур высокие скулы, – но все же привлекательное и возбуждающее. Многие оборачивались, когда Тони входила в комнату. Полные тяжелые груди. Меня тянет к грудастым женщинам. Нужно, чтобы было куда склонить усталую голову... она у меня так часто устает. У матери моей был номер 32-А, далеко не самый удобный. Она не могла баюкать меня, даже если бы и хотела, но подобного желания у нее никогда и не возникало. (Прошу ли я ее когда-нибудь за то, что она выпустила меня из своего чрева? Ах, Селиг, хоть сейчас прояви немножко жалости, Бога ради!)

Я заглядывал в мозг Тони всего несколько раз: впервые это произошло в день нашего знакомства, потом несколько недель спустя. В третий раз, когда мы порвали, это вышло совершенно случайно. Второй раз тоже не нарочно, более или менее, и только в первый раз я намеренно зондировал ее. После того как понял, что люблю Тони всерьез, я не позволял себе шпионить в ее головке. «То, что в щелочку видно, для тебя обидно». Этот урок я усвоил еще в юности. Кроме того, мне не хотелось, чтобы Тони заподозрила о моем особом даре. Моим проклятии. Я боялся, что это может отпугнуть ее.

В то лето я работал секретарем за 85 долларов в неделю – последнее в бесконечной серии моих странных занятий. Ишачил на хорошо известного писателя, который трудился над огромной книгой о политических махинациях, связанных с основанием государства Израиль... Восемь часов в день просматривал для него подшивки старых газет в недрах Колумбийской библиотеки. Тони же была младшим редактором издательства, которое публиковало его книгу. Однажды поздней весной я встретился с ней в шикарной квартире писателя на Ист-Энд-авеню. Я пришел туда, чтобы вручить пачку заметок по поводу речей Гарри Трумэна в избирательной кампании 1948 года, а ей понадобилось уточнить сокращения, сделанные в первых главах. Красота ее взволновала меня. Уже много месяцев у меня не было женщины. Автоматически я предположил, что она любовница писателя – постельный редактор. Мне говорили, что это обычная практика в мире литературоведов. Однако мое чутье сразу опровергло такие домыслы. Я проник в мозг моего нанимателя, нашел, что он очень даже расположен к ней. Он страдал, а женщина, очевидно, не дала бы за него ни цента. Тогда я залез в ее мозг, пробрался в самую глубину и нашел там самого себя. Она представляла меня в самом радужном свете. Я быстро сориентировался. Меня осыпали разрозненные фрагменты ее биографии, несвязанные, косвенные: развод, удачный и неудачный секс, годы в колледже, путешествие на Карибские острова. Все это, как обычно, плавало в первоизданном хаосе. Я пропустил прошлое и определил, что же было после. Нет, она не спала с писателем. В физическом плане он был для нее абсолютным нулем. (Странно. Мне он казался романтической, приятной и даже привлекательной личностью, насколько могла судить моя гетеросексуальная душа.) Ей даже не нравились его произведения. Затем, пошарив вокруг, я узнал кое-что еще более удивительное: оказывается, она обратила внимание на меня. От нее тянулась явственная ниточка: «А свободен ли он

сегодня вечером?» Она смотрела на не слишком молодого секретаря, 33 лет, с проплешиной на макушке, и не находила его неприятным. Я был потрясен. «Вот материалы по Трумэну, – сказал я своему нанимателю. – И здесь не все, осталось еще Трумэновская библиотека в Миссури». Затем мы потолковали несколько минут о следующем задании и я сделал вид, что собираюсь уходить.

– Подождите, – сказала женщина. – Я сейчас освобожусь. Мы можем выйти вместе.

Мастер пера бросил в мою сторону ядовитый и завистливый взгляд. О боже, опять меня выставят. Но он кинул нам обоим вежливое «до встречи». В лифте мы стояли врозь, Тони в одном углу, я в другом. Трепещущая стена напряженности и желания и разделяла нас, и соединяла. Я старался не читать ее мысли. Почему-то боялся не отрицательного, а положительного ответа. И на улице мы, смущенные, тоже стояли врозь. Наконец я сказал, что возьму такси, чтобы ехать на север Вест-Сайда. (Я – и на такси, с моими-то 85 долларами в неделю!) И могу подвезти ее. Тони сообщила, что живет на 105-й улице в Вест-Энде. Довольно близко. Когда такси остановилось у ее дома, она пригласила меня зайти выпить рюмочку. Три комнаты, обстановка совершенно невыразительная: книги, пластинки, коврики, на стенах афиши. Тони начала разливать вино, а я схватил ее, сдавил в объятиях и принялся целовать. Она задрожала... а может быть, дрожал только я.

После порции горячего кислого супа в «Грейт Шанхай», чуть позже в тот же вечер, она сказала, что через пару дней уезжает. Квартира принадлежит ее нынешнему сожителю – мужчине, с которым она разошлась три дня назад. Остановиться ей негде.

– А у меня только одна вшивая комната, – сказал я. – Но в ней есть двуспальная кровать. – Смущенные улыбки – ее, моя. Однако пошли. Не думаю, что она сразу влюбилась в меня, нет. То, что она чувствовала, нельзя назвать любовью. Но это было лучшее, на что я мог надеяться. Ей нужна была тихая гавань в бурю. Я сделал предложение, она приняла его. Тогда я был для нее гаванью. А в глубине души я уже чувствовал любовь. Пусть будет так! Пусть будет так! Она дозреет, ведь спешить нам некуда.

В первые две недели мы почти не спали. Не из-за того, что все время трахались, хотя и этого было предостаточно. Мы разговаривали. Мы были новинкой друг для друга, и ничто не омрачало наших отношений: все прошлое интересно, обо всем можно рассказать, все излить, не требуется усилий, чтобы подыскать тему. (Ну я, разумеется, делился не всем, избегая одного факта, определившего мою жизнь.) Тони поведала мне о своем замужестве – раннем, в двадцать лет, коротком и пустом, о том, как жила три года после развода: успех у мужчин, погружение в оккультизм и терапию по Райху, карьера редактора. Чудесные, легкомысленные дни.

И вот наступила третья неделя. Я во второй раз проник в ее мозг. Душная июньская ночь. Сквозь ребристые шторы нашу комнату заливают холодным светом полная луна. Тони сидит на мне верхом, в своей любимой позе; тело ее – очень бледное – светится в таинственной полутьме. Голова где-то высоко надо мной. Лицо наполовину скрыто гривой спутанных волос. Веки опущены, рот раскрыт. Грудь, если смотришь на них снизу, кажутся больше, чем на самом деле. Клеопатра при лунном свете. Она раскачивается и дрожит, приближаясь к экстазу; ее красота и чуждость так поражают меня, что я просто не могу удержаться, чтобы не заглянуть в нее в миг наивысшего наслаждения, не проследить его на всех уровнях. Я приоткрываю барьер, который возводил с таким усердием, и, когда она кончает, мысленно заглядываю ей в душу. Меня оглушает вулканической силы взрыв. Ни единой мысли, только звериное неистовство извергается из каждого нерва. Я видел это и в других женщинах, до и после Тони. Они как островок в пустом пространстве, знают только свое тело, может быть, еще ощущают этот твердый стержень, что пронзает их; наслаждение, которое охватывает их, безлично, как бы ни был могуч внешний источник. Так было и с Тони. Я ничуть не возражал; я знал, чего можно ожидать, и не чувствовал себя обманутым или обойденным. Слияние наших душ помогло кончить

и мне, усилило мой экстаз. Но затем я потерял контакт. Всплеск оргазма разорвал хрупкую телепатическую цепь. Мне было немножко стыдно за то, что я подсматривал, но большой вины я не ощущал. О, какое волшебство – быть с ней в такой момент, узнать о ее радости не только по судорожному сокращению чресел, но и по вспышкам ослепительного света в темном пространстве ее души. Мгновение красоты и чуда, иллюминация, которую не забудешь никогда, но и никогда не повторишь. И я вновь решил сохранять наши отношения в чистоте, не пользоваться своим постыдным преимуществом, в дальнейшем держаться в стороне и не подсматривать.

Но несмотря на это, спустя несколько недель, я в третий раз нарушил запрет. Случайно. О, эта проклятая ненавистная случайность! О, этот третий раз!

Идиот несчастный!

Катастрофа...

Глава 9

Весной 1945 года, когда Дэвиду было девять лет, любящие папа и мама решили подарить ему маленькую сестренку. Именно так они и выразились. Мама, обнимая его со своей самой теплой и самой фальшивой улыбкой, сказала тем образцовым тоном, «каким мы говорим с умненькими детьми»: «Папа и я приготовили тебе подарок, Дэвид. Мы хотим подарить тебе маленькую сестричку».

Сюрприза, конечно, не получилось. Этот вопрос родители обсуждали месяцами, может быть, годами, ошибочно воображая, что их сын, их умненький мальчик, не понимает, о чем они говорят, полагая, что он не может разгадать в их нарочито неясных формулировках, кто такие «она» и «он», о которых постоянно упоминается. В те дни его телепатическая сила была могучей и ясной. Лежа в своей спаленке, заваленной книжками с загнутыми страницами и альбомами для марок, он мог без усилий слышать все, что происходило за закрытыми дверями на расстоянии в пятьдесят футов. Как бы бесконечное радиовещание без рекламных вставок. Он мог слышать все станции на всех диапазонах, но чаще всего ловил *РПСМ – Радио Пол Селиг – Марта Селиг*. Родители не в состоянии были что-либо утаить от своего сына... Он шпионил безо всякого стыда. Преждевременно повзрослевший, тайно присутствуя при тайном, он ежедневно созерцал оборотную сторону супружеской жизни, финансовые затруднения, моменты неопределенной нежности, виновато-подавленной из-за вечной и неизбывной скуки, постельные радости и муки, совпадение и несовпадение, тайны нисходящего оргазма, вялой эрекции, ужасную сосредоточенность на правильном росте и развитии ребенка. Умы родителей постоянно источали потоки бессмысленности, а Дэвид черпал из нее все, что хотел. Чтение их душ было его любимой игрой, его религией, его мезью. Они никогда не подозревали об этом его занятии. Но все же он был разочарован, старательно скрывал свой дар и постоянно жалел, что им даже не снится такое чудо. Они просто считали, что у них необыкновенно умный сын, и никогда не спрашивали, откуда он знает так много о самых невероятных вещах. Возможно, если бы они догадались, то задушили бы его прямо в колыбели. Но у них не было ни тени подозрения. И Дэвид продолжал шпионить, год за годом. Восприятие его углублялось по мере того, как он все лучше и лучше разбирался в материале, который невольно поставляли ему родители.

Он знал, что доктор Гиттнер, которого, при всем его опыте, немало озадачил странный мальчик Селигов, уверял, будто Дэвид изменится, если в семье появится второй ребенок. «Сиблинг» – так называл он его, и Дэвиду пришлось выудить значение этого слова из головы доктора, как из толкового словаря. Сиблинг: брат или сестра! О, проклятый ублюдок с лошадиной мордой! Дэвид мысленно умолял Гиттнера не предлагать одной-единственной вещи, но доктор предложил именно это. Чего еще можно было ожидать? Теория сиблингов все время присутствовала в сознании доктора, лежала там подобием гранаты с выдернутой чекой. Однажды ночью Дэвид проник в мозг своей матери и нашел там текст письма Гиттнера: «Единственный ребенок в семье – эмоционально обедненное дитя. Без игр с братьями и сестрами у него нет возможности научиться технике общения с ровесниками. У него разовьются опасные, тягостные отношения с родителями, для которых он становится товарищем, а никак не питомцем». Универсальная панацея Гиттнера! Куча братьев и сестер! Как будто в больших семьях не бывает невротиков.

Дэвид знал, как неистово старались родители выполнить предписание Гиттнера. Важно было не упустить время; мальчик становился все старше и, лишенный общения с сиблингами, с каждым днем терял возможность установить наилучшие отношения с товарищами. Ночь за ночью бедные немолодые тела Пола и Марты Селиг пытались разрешить проблему. Они очень старались, растравляя в себе похоть, но каждый раз с наступлением месячных приходило разо-

чарование. Дэвиду, конечно, ничего не говорили, стыдясь признаться восьмилетнему ребенку, что на свете существуют сексуальные отношения. Но он знал. Знал, почему живот матери начал расти и почему ему медлили объяснить причину, знал также, что приступ «аппендицита» в июле 1944 года был на самом деле выкидышем. Знал, почему после этого оба, мать и отец, добрых полгода ходили с трагическими лицами. Знал, что врач предупредил Марту о неразумности заводить второго ребенка в 35 лет, а если она так уж настаивает на этом, пусть возьмет приемного. И знал, как шокирован был отец. «Что? Взять в дом ублюдка, которого выкинула какая-нибудь шикса?» Бедный старый Пол целыми неделями не мог спать, не признаваясь даже жене, почему он так подавлен, но, сам того не ведая, изложил все своему сыну, который не отличался избытком скромности. «Ну с какой стати я должен подобрать чье-то отродье только потому, что, по мнению психиатра, для Дэвида это будет лучше? Какого сорта мусор я притащу в дом? Смогу ли я любить чужого ребенка? Как я могу сказать ему, что он еврей, если его сделал какой-нибудь пьянчужка Майк или итальянец – сапожник, чистильщик обуви?» И все это воспринимал вездесущий Дэвид. В конце концов Селиг-старший высказал свои тщательно отредактированные опасения жене: «Может быть, Гиттнер ошибается, может, это только временный период в развитии Дэвида и второй ребенок вовсе не нужен?» Он напомнил жене и о расходах, о переменах, которые потребуются в их жизни, о том, что они немолоды, что у них установленный определенный порядок, а ребенок станет будить их в четыре часа утра; крик, пеленки... Дэвид молча радовался словам отца. Кому нужен этот незванный пришелец, сиблинг, враг покоя? Но Марта не сдавалась, плакала, цитировала письмо Гиттнера, читала выдержки из своей библиотечки по детской психологии, ссылалась на проклятую статистику неврозов, неуравновешенности, мокрых постелей и гомосексуализма у единственных в семье детей. Старик уступил на Рождество: «Ладно, мы усыновим ребенка, но пусть это будет не кто попало, слышишь? Возьмемся за дело, как хорошие евреи». Последовали зимние недели блужданий по агентствам, которые Дэвиду преподносились как невинные поездки за покупками в Манхэттен. Конечно, им не удалось его одурачить. Разве можно было одурачить того, кому все известно заранее? Единственным утешением оставалась надежда на то, что сиблинг не найдется. Время было военное: новых машин не сыщешь днем с огнем, наверно, и сиблинга приобрести не так-то легко. Поиски растянулись на много недель. Выбор младенцев был невелик, причем все они оказывались с тем или иным недостатком: слабенькие, на вид сущие дурачки, сомнительные евреи и не того пола. Пол и Марта вознамерились добыть Дэвиду маленькую сестренку. Это само по себе ограничивало выбор, поскольку люди почему-то охотнее отдавали мальчиков, а не девочек. И все же однажды вечером, после очередной поездки «по магазинам», Дэвид уловил в мозгу матери зловещий мотив удовлетворения и понял, что вопрос решен. Они нашли милую маленькую девочку четырех месяцев от роду. Ее девятнадцатилетняя мать была не только еврейкой по документам, но еще и студенткой колледжа, по описанию агентства – «чрезвычайно интеллигентной». Не настолько интеллигентной, очевидно, чтобы избежать оплодотворения. Отцом же девочки являлся красивый молодой капитан ВВС, тоже еврей, который приезжал в отпуск в феврале 1944 года. Он испытывал угрызения совести, но вовсе не стремился жениться на жертве своей похоти. Теперь он летал над Тихим океаном, где, по твердому убеждению родителей девушки, его неминуемо должны были уже десятки раз сбить. Они-то и заставили дочь отдать ребенка на усыновление. Дэвид удивился, почему Марта не привезла новоявленную сестренку в тот же день, но вскоре узнал, что впереди еще несколько недель всяких формальностей. Прошла добрая половина апреля, прежде чем мать наконец объявила: «Мы с папой приготовили для тебя замечательный подарок, Дэвид».

Девочку назвали Джудит Ханна Селиг в честь недавно скончавшейся матери ее приемного отца. Дэвид немедленно возненавидел сестру. Он очень боялся, что девочку поселят в его комнату, но родители поставили колыбель к себе. Тем не менее она кричала на всю квартиру, ночь за ночью, раздражаясь бесконечными хриплыми воплями. Просто не верилось, что

младенец способен производить столько шума. Пол и Марта отдавали ей практически все свое время: кормили, играли, меняли пеленки. Дэвид тем не менее был доволен, его оставили в покое, даже меньше стали давить на него. Но он не терпел ее присутствия в доме, не находил ничего хорошего в пухленьких ножках, курчавых волосиках и ямочках на щеках, однако проявил некоторый чисто академический интерес, обнаружив у нее маленькую розовую щелку, столь не похожую на его собственный орган. «Так, значит, у них щелка вместо штучки. О'кей, ну и что с того?»

В общем, сестра раздражала его. Он не мог читать из-за шума, который она устраивала, а чтение было его единственным развлечением. Квартиру теперь переполняли родственники и друзья, спешившие провести малышку. Их ленивые, тупые, стандартные мысли затопляли весь дом, били словно колотушкой по чувствительному сознанию Дэвида. Он раз за разом пытался проникнуть в мозг девочки, но не находил там ничего, кроме размытых пятнышек туманных ощущений. Даже мозги собак и кошек – и те были гораздо содержательнее. У нее, кажется, начисто отсутствовали какие бы то ни было мысли. Дэвид мог смутно различить только чувство голода, или желание подремать, или смутный оргазм, когда она мочила пеленки. Дней через десять после ее появления в доме он решил телепатически воздействовать на девочку и убить ее. Выбрав момент, когда родители были чем-то заняты, Дэвид пробрался в их комнату и сосредоточенно уставился на колыбель сестры. Если бы только он мог извлечь из нее искру интеллекта, перетащить к себе ее мозг, превратить ее череп в пустую скорлупу, она наверняка бы погибла. Он просто видел, как его крючки лезут в ее душу. Неподвижно глядя в маленькие глазенки и напрягая всю свою силу, он твердил: «Иди... иди... твой мозг скользит ко мне. Я беру его, я беру его весь целиком... ам! Я держу твой мозг». Но, ничуть не потревоженная его колдовством, девочка принялась гулять и махать ручками... Напряжение росло, он удвоил старания. Улыбка исчезла, бровки нахмурились. Поняла ли она, что на нее нападают, или ей просто надоели его гримасы? «Давай... давай... твой мозг скользит в мой...»

На какой-то миг Дэвиду показалось, что он сумеет добиться своего. Но затем она стрельнула в него взглядом, исполненным холодного неодобрения и силы, силы невероятной, поистине устрашающей для ребенка, и Дэвид отступил, испуганный, боясь неведомой контратаки. Мгновение спустя Джуди загулькала снова. Она победила. Он ушел с ненавистью в сердце, но больше уже никогда не пытался навредить ей... Сестра же, когда повзрослела настолько, чтобы понимать, что такое ненависть, отлично разобралась в том, как к ней относится ее братец, и сама возненавидела его. Ненависть ее оказалась гораздо действеннее. О, она была просто виртуозом ненависти.

Глава 10

Тема этого сочинения: «Мое самое первое странствие». Первое и последнее, случившееся восемь лет назад. Вообще-то даже не мое, а Тони. Диэтиламид лизергиновой кислоты никогда не проходил сквозь мой пищеварительный тракт. Я только присоединился к Тони, был всего лишь попутчиком в этом очень скверном странствии. Но позвольте рассказать все по порядку.

Случилось это летом 1968 года. То лето было скверным само по себе. Вы вообще-то помните 68-й? В тот год мы все разом очнулись и увидели, что дело, оказывается, швах. Я имею в виду американское общество. Всепроникающее ощущение гнили и всеобщего коллапса, такое знакомое всем нам, оно, я полагаю, действительно приходится на 1968 год. Именно тогда мир вокруг нас затопила неуклонно возрастающая энтропия, которая проникла и в наши души, в мою, во всяком случае, точно.

В то лето Линдон Бэйнс Макберд еще находился в Белом доме, дослуживал свой срок после отречения в марте. Бобби Кеннеди встретился, наконец, с предназначенной ему пулей, то же произошло и с Мартином Лютером Кингом. Убийства эти не стали неожиданностью; удивительно было: чего они так долго тянули? Черные поджигали дома – горели их собственные соседи, вы помните? Обыкновенные люди начали ходить на работу в уродливой одежде, рубашки колоколом или же облегающие мини-юбки у девушек, и у всех длиннющие волосы, даже у тех, кому перевалило за двадцать пять. Это был год моды на баки и усы, как у Буффало Билла. Сенатор Джин Маккарти – из Миннесоты, кажется, или из Висконсина? – цитировал на собраниях стихи, пытаясь привлечь симпатии демократов к своей кандидатуре. Но можно было держать пари, что они выдвинут Губерта Горацио Хэмфри, когда соберутся на съезд в Чикаго (чистой воды фестиваль американского патриотизма). В другом лагере Рокфеллер на пару с Хитрым Никсоном старались что есть силы, но все знали, к чему это приведет. В местечке под названием Биафра, о котором вы никогда и слыхом не слыхивали, дети умирали от недоедания, русские двинули войска в Чехословакию для очередной демонстрации социалистического братства. А в другой стране, под названием Вьетнам, о которой вы, вероятно, и не хотели бы слышать, мы жгли напалмом все подряд во имя мира и демократии, и лейтенант по имени Уильям Колли организовал ликвидацию нескольких сотен «опасных преступников» – стариков, женщин и детей – в деревушке Сонгми, только мы об этом ничего не знали еще. Все читали книги: «Пары», «Майра Брекенбридж», «Признание Ната Тернера», «Денежная игра». Я забыл фильмы того года. «Беспечный ездох», кажется, еще не появился, а «Образованный» вышел годом раньше. Может быть, «Ребенок Розмари»? Да, определенно 1968-й был дьявольским годом. И именно тогда масса людей среднего класса и среднего возраста начала употреблять термины «горшочек» и «травка», имея в виду марихуану. Некоторые, судя по их словам, уже курили ее. (А я? Я как раз перешагнул через цифру 33.) Вспомним, что было еще? Президент Джонсон назначил Эйба Фортеса вместо Эрла Уоррена главой Верховного суда. А где вы теперь, главный судья Фортес, кому вы нужны? В то лето начались, хотите верьте, хотите нет, парижские мирные переговоры. Позже казалось, что переговоры эти ведутся с начала времен, что они вечны, как Большой каньон или республиканская партия, но нет, оказывается, их придумали в 1968 году. Дэнни Маклейн был на пути к своей 31-й победе в том сезоне. Дэнни, кажется, был единственным человеком, который считал 1968-й хорошим годом. Правда, его команда проиграла мировое первенство. (Нет! Что я говорю? «Тигры» выиграли три игры из четырех. Но звездой стал Микки Лоллич, а не Маклейн.) Вот каким был тот год. О боже, я забыл еще одно важнейшее событие. Весной был бунт в Колумбии, и радикальные студенты захватили кампус («Долой церковь!»). Занятия прекратились («Закройте!»), выпускные экзамены отменили, и произошли ночные столкновения с полицией, в которых было разбито немало голов, и в канавы пролилось много высококачественной крови. Просто странно, что

именно это событие я упустил. Ведь из всего, что я тут перечислил, только в нем я и принимал участие. Стоя на углу Бродвея и 116-й улицы, я смотрел, как взводы «пухов» направлялись к Батлеровской библиотеке. («Пуhamи» мы называли тогда полицейских, позже их окрестили «свиньями», но это уже потом, хотя и в том же году.) Я выставил руку над головой, указательный и средний пальцы вилкой: «V – победа!» и выкрикивал идиотские лозунги. Потом прятался в вестибюле Фарнелд-Холла, когда синяя бригада ночных дубинок вошла в раж. Спорил о тактике с лохматобородым студенческим гауляйтером, который в конце концов плюнул мне в лицо и обозвал вонючим либералом и предателем. Видел, как милые девочки из Барнарда рвали на себе блузочки и, выставив вперед голые груди, как рога, напирала на полицейских, выкрикивая умопомрачительные ругательства, о которых в мои годы студентки даже и не слышали. Видел я и группу молодых лохматых колумбийцев, которые мочились на труды, извлеченные из кабинета какого-то злополучного докторанта. И я понял, что для человечества нет надежды, если даже лучшие из нас способны стать яростно-безумными берсерками во имя любви, мира и равенства. В те темные ночи, заглядывая во многие головы, я находил там только истерию и безумие. И однажды, в отчаянии, понимая, что живу в мире, где две клики лунатиков борются за власть в сумасшедшем доме, после особенно кровавого бунта я отправился отвести душу в Риверсайд-парк и был неожиданно захвачен (я – и неожиданно!) 14-летним чернокожим бандитом, который, улыбаясь, освободил меня от 22 долларов.

В то время я жил неподалеку от Колумбийского университета на 114-й улице в переполненном общежитии, где у меня была комната среднего размера плюс право на пользование кухней, ванной, полно тараканов и никаких забот. Там я обитал и раньше, в свою бытность студентом в 1955–1956 гг. Дом разрушался уже в те времена и стал отвратительной чертовой дырой, когда я вернулся туда 12 лет спустя. Двор был усеян сломанными шприцами, как другие дворы – окурками. Но я, очевидно, был в известной степени мазохистом, ибо не хотел отворачиваться от своего прошлого, пускай невыразимо уродливого, и, когда мне понадобилось жилье, я выбрал именно это. Кроме того, оно было дешевым – 14 с половиной долларов в неделю. Вдобавок я хотел жить поближе к университету, потому что тогда собирал материалы для книги об Израиле. Вы еще не забыли, о чем я веду речь? Я рассказываю вам о моем первом странствии с ЛСД, вернее, о странствии Тони.

Мы делили наше убогое жилище около семи недель – часть мая, весь июнь и начало июля. Делили хорошее и плохое, зной и дождь, спорили и мирились. И это было счастливое время, пожалуй, самое счастливое в моей жизни. Я любил Тони и думал, что она любит меня. На мою долю выпало не так уж много любви. Я вовсе не взываю к вашей жалости, просто констатирую факт, объективно и холодно. Моя природа уменьшает возможность любить и быть любимым. Человек с моими способностями, которому открыты чужие мысли, не слишком-то склонен к любви. Ему трудно любить, потому что он не до конца доверяет людям, чересчур много знает об их грехах, а это убивает чувство. Неспособный давать, он не способен и получать. Душа его, застуженная одиночеством, не склонна прощать; она становится невосприимчивой, да и другим нелегко полюбить такую. Петля затягивается, а в ней – горло того человека. Тем не менее я полюбил Тони и нарочно старался не заглядывать в глубины ее души, надеясь, что и моя любовь безответна. А что, собственно говоря, определяет любовь? Мы предпочитали быть вдвоем, мы радовались друг другу. Нам никогда не было скучно вместе. И наши тела служили зеркалами душевной близости. Эрекция меня не подводила, у нее с этим тоже было все в порядке, и соития приводили в экстаз нас обоих. Я называл эти вещи параметрами любви.

В пятницу, на седьмой неделе нашего совместного проживания, Тони принесла из своей конторы два маленьких бумажных квадратика. В центре каждого проступало бледное синезеленое пятнышко. Секунду или две я недоуменно смотрел на них.

– Кислотка, – сказала она наконец.

– Кислотка?

– Ну да, ЛСД. От Тедди.

Тедди звали ее босса, главного редактора. Я знал, что такое ЛСД. Я читал о мескаLINE у Хаксли еще в 1957 году и был восхищен и заинтригован. Годами я ходил вокруг да около психоделических опытов, даже пытался записаться на программу исследования ЛСД в Колумбийском медицинском центре. Но опоздал, а затем наркотики стали всеобщим увлечением, пошли все эти истории о самоубийствах, психозах, вредных последствиях. Зная свою уязвимость, я решил, что умнее было бы оставить сию опасную забаву другим. Хотя все же было любопытно. И на тебе – кислотка таки нашла меня, и принесла ее моя возлюбленная.

– Говорят, это настоящий динамит, – сказала Тони. – Высшей пробы, лабораторное качество. Тедди уже пробовал из этой пачки; он говорит, что все очень гладко, никаких срывов или прочей чепухи в таком роде. Я думаю, завтрашний день мы проведем в «странствии», а в воскресенье отоспимся.

– Мы оба?

– Почему бы нет?

– Я полагаю, что обоим сразу отключаться необязательно.

Она как-то странно посмотрела на меня.

– Ты думаешь, что кислота сведет тебя с ума?

– Не знаю, я слышал массу трагических историй.

– А сам не пробовал?

– Нет, – признался я. – А ты?

– Тоже нет. Но я видела, как мои друзья пускались в странствие. – Меня передернуло при этом воспоминании о ее прежней жизни. – Они не сошли с ума, Дэвид. Сначала будет взлет, он длится около часа, и в голове все путается, однако в основном все странствующие сидят тихо-мирно, как... ну, как твой Олдос Хаксли. Можешь себе вообразить, что Хаксли спятил? Тараторит, несет чепуху, мебель ломает?

– А как насчет того парня, который убил в бреду свою тещу, или девушки, выпрыгнувшей из окна?

Тони пожала плечами.

– У них была неустойчивая психика, – сказала она надменно. – Скорее всего, они еще до того были близки к убийству или самоубийству, ЛСД же только подтолкнул их. Но мы же не хотим ничего такого, ни ты, ни я. А может быть, у них были слишком сильные дозы или им подменили наркотик. Таких случаев – один на миллион. У меня есть друзья, которые ширялись по пятьдесят-шестьдесят раз, и никаких неприятностей. – Она теряла терпение, ее голос звучал наставительно, где-то даже по-лекторски. Уважение ко мне заметно уменьшилось из-за этой моей нерешительности в духе старой девы. Мы явно были на пороге ссоры.

– В чем дело, Дэвид? Ты просто боишься.

– Я полагаю, что обоим пускаться в странствие неразумно. Мы же не знаем, как эта штука подействует.

– Странствовать вместе – это самое классное, что только можно придумать, – уверяла Тони.

– Но это рискованно. Мы же ничего не знаем. Слушай, ты можешь добыть еще кислотки, если захочешь?

– Наверное.

– Тогда ладно. Давай пойдем по порядку, шаг за шагом. Спешить незачем. Ты странствуешь завтра, я слежу за тобой. Я – в воскресенье, ты следишь. Если нам обоим понравится, в следующий раз мы путешествуем вместе. Договорились, Тони? Договорились?

Она принялась было возражать, уламывать меня, нагромождая один довод на другой, но потом спохватилась и отступила, изменила позицию, решила не создавать проблем. В мозг ее я не проникал, но и без того все было ясно, ибо я читал ее лицо как открытую книгу.

– Хорошо, – сказала она мягко, – не стоит ссориться по пустякам.

В субботу утром Тони не завтракала, – ей сказали, что странствовать надо натошак. После того как я поел, мы некоторое время еще сидели на кухне, а невинный на вид бумажный квадратик лежал между нами на столе. Мы притворялись, что его здесь вовсе нет. Тони держалась скованно. Не знаю, может быть, она сердилась на мое настойчивое желание отправить ее в странствие в одиночку или просто дрогнула в самый последний момент. Мы мало разговаривали, но она успела наполнить недокуренными сигаретами целую пепельницу. Время от времени Тони нервно усмехалась, тогда я брал ее за руку и улыбался, чтобы подбодрить, а мимо нас, любуясь трогательной сценой, сновали другие обитатели нашего этажа, которые тоже пользовались кухней. Сначала прошла Элоиза – хитренькая черная бездельница. Затем мисс Теотокис, хмурая няня, работавшая в госпитале Святого Луки. Мистер Вон, таинственный коротышка китаец, который всегда ходил в нижнем белье. Эйткен – начинающий школяр из Толидо и бледный как смерть наркоман Доналдсон – его сожитель. Некоторые кивали нам, но никто не сказал «доброе утро». В этом доме считалось хорошим тоном делать вид, что твои соседи – невидимки. Старая добрая нью-йоркская традиция.

Примерно в половине одиннадцатого Тони сказала: «Налей мне апельсинового сока». Я наполнил стакан из сосуда, помеченного моей фамилией. Тони подмигнула мне и широко улыбнулась, показывая зубы. Фальшивая бравада. Затем взяла пакетик, высыпала содержимое в рот, проглотила и запила соком.

– И надолго ты унесешься? – спросил я.

– Часа на полтора.

На самом деле все заняло не более пятидесяти минут. Мы вернулись в свою комнату, заперли дверь, включили проигрыватель, и потом только слабые звуки мелодии Баха нарушали тишину. Я пытался читать, Тони тоже, но страницы переворачивались не слишком быстро. Внезапно она посмотрела на меня и сказала:

– Я чувствую себя как-то странно.

– Есть что-нибудь?

– Голова кружится. Как при морской болезни. Затылок болит.

– Тебе дать чего-нибудь? Стакан воды? Соку?

– Спасибо, ничего. Теперь хорошо. На самом деле хорошо. – Улыбка застенчивая, но искренняя. Тони насторожена, но не испугана. Готова к своему странствию. Отложив книгу, я внимательно следил за ней, чувствуя себя эдаким ангелом-хранителем, почти желал, чтобы мне представилась возможность прийти ей на помощь. Нет, я не хотел ничего плохого, просто стремился оказаться нужным.

Она выдавала мне сводки о наступлении наркотика на ее нервную систему. Я делал заметки, пока она не буркнула, что шуршание карандаша ее отвлекает. Затем Тони заговорила о зрительных искажениях. Стены слегка изогнулись, щели на штукатурке стали узорными, все краски – необыкновенно яркими. Солнечные лучи, проходящие сквозь грязное окно, превратились в призмочки, дрожащие плевки спектра над полом. Музыка – я ставил любимые пластинки Тони – приобрела любопытную окраску: разделилась на отдельные последовательные мелодические линии. Тони казалось, что диск движется рывками, но звук, звук сам по себе приобрел необыкновенную плотность и осязаемость. Эти новые качества очень нравились Тони. Кроме того, в ушах у нее свистело, как будто ветер дул в лицо. Все становилось странным, незнакомым. «Я на другой планете», – повторила она дважды. Я припомнил страшные рассказы о видениях наркоманов, о падении в преисподнюю, о мучениях за грехи, истории, старательно расписанные усердными журналистами «Таймс» или «Лайф» для развлечения подписчиков, и чуть не заплакал от облегчения. Тони странствовала благополучно. Ведь я боялся наихудшего, но у нее все шло превосходно. Глаза закрыты, лицо незамутненное, спокойное, дыхание глубокое, равномерное. И затерялась моя Тони в королевстве трансценден-

тальных тайн. Теперь она почти не говорила со мной, только время от времени бормотала что-то невнятное и не к месту.

Прошло уже полчаса. Тони уходила от меня все дальше, и все глубже становилась моя любовь к ней. То, как она справляется с кислотой, внушало мне уважение, я восхищался силой ее личности. Сильные женщины – моя слабость. Я уже начал планировать свое собственное странствие, мысленно подбирал музыкальный аккомпанемент, воображал интересные смещения реальности, заранее представляя себе, как мы будем сравнивать наши ощущения, и сожалел о своей трусости, из-за которой лишился удовольствия странствовать вместе с Тони сегодня. Но что такое? Что с моей головой? Откуда это внезапное удушье? И давление в груди? И сухость в горле? Стены кривятся, воздух стал тяжелым, моя правая рука сделалась на добрый фут длиннее левой. Такие эффекты Тони отмечала немножко раньше. Но почему я чувствую их только теперь? Я дрожу. Ноги дергаются сами собой. Что это? Высший контакт? Так, кажется, принято говорить? Или я сидел слишком близко к Тони и частицы ЛСД случайно попали в мой организм?

– Дорогой Селиг, – снисходительно говорит мое кресло, – неужели ты так глуп? Все очень просто: ты выудил ощущения из ее головы.

Просто? Так ли уж просто? Я пораскинул мозгами. Могу ли я читать мысли Тони непроизвольно? По-видимому, могу. До сих пор, чтобы направленно заглянуть в чужой мозг, мне требовались хотя бы небольшие усилия. Но, вероятно, ЛСД сделал мышление Тони интенсивнее. Какое еще может быть объяснение? Она транслирует свои переживания, а я невольно воспринимаю их, несмотря на все мои благородные намерения уважать тайны ее личности. Кислота сама разрушила барьер между нами, заразила меня мыслями Тони.

Могу я уйти из ее мозга?

Наркотик действует на меня. Я смотрю на Тони, мне кажется, что она трансформируется. Маленькая черная родинка на ее щеке, в самом уголке рта, вдруг засияла всеми цветами радуги – красным, синим, фиолетовым, зеленым... Губы стали очень полными, рот – непомерно широким. Сплошные зубы, ряд за рядом, как у акулы. Как же я не замечал раньше эту хищную пасть? Она просто пугает меня. Шея удлинилась, туловище сжалось, груди ерзают под знакомым красным свитером, словно беспокойные кошки. Свитер принял угрожающий, зловеще-пурпурный оттенок. Отодвинувшись от Тони, я глянул в окно. По грязному стеклу разбежались трещины, которых я раньше не замечал. Оно вот-вот взорвется и осыплет нас осколками. На той стороне улицы здания словно присели, в их изменившейся позе есть что-то опасное. И потолок надвигается на меня; я слышу глухие удары. «Это шаги соседа сверху, – говорю я себе, но мне чудится, что там людоеды готовят себе обед. Так вот что такое странствие с кислотной! И наша молодежь, цвет нации, идет на это добровольно, даже с охотой, для того чтобы развлечься?

Нет, я должен отключиться, прежде чем эта штука изуродует меня. Не хочу! Уйду!

Легко сказать. У меня были свои приемы блокирования сигналов, отключения от их потока. Но сегодня они не действуют. Я беспомощен против ЛСД. Пытаюсь укрыться от этих пугающих впечатлений, но они вторгаются в меня насильно. Я совершенно открыт всем эманациям Тони, я захвачен ими. Погружаюсь все глубже и глубже. Так это и есть странствие? Мне оно определенно не нравится. Удивительно, но Тони ведь хорошо. Почему же так скверно мне – ее случайному попутчику?

Все, что есть в мозгу у Тони, перетекает ко мне. Проникновение в чужую душу не новинка для меня, но такого еще не было. Я получаю информацию, невероятно искаженную наркотиками. Нечаянный наблюдатель в душе Тони, что же я там увидел? Пляску демонов. Неужели в ней действительно такой мрак? В предыдущие разы не было ничего похожего. Кислота обнажила некий уровень кошмаров, недоступный мне ранее. Перед моим мысленным взором проходило, как на параде, ее прошлое. Любовники. Совокупления. Отвращение. Поток менстру-

альной крови; или же эта алая река – намек на что-то еще более греховное? Комок боли. Ее жестокость и жестокость по отношению к ней. Вот Тони отдается многочисленным мужчинам. Они маршируют, чеканя шаг, все их движения механические. В красном свете поблескивают их твердые члены. Один за другим они входят в ее лоно, я вижу, как из него брызжет свет. Их лица – маски... Я не знаю никого из них. А почему нет в этом ряду меня? Где я? Где я? Ах, вот он я – в сторонке, незначительный, неуместный. И это я? Таким она видит меня на самом деле? Летучая мышь, волосатый вампир, суеливый кровосос. Или это только Дэвид Селиг в глазах самого Дэвида Селига? Образ, скачущий от меня к ней и обратно, как отражение в зеркалах парикмахерской? Боже, помоги мне, я вложил в нее свой собственный гнусный опыт, получил его обратно и проклинаю ее за то, что она приютила не ею созданные кошмары.

Как порвать эту цепь?

Я встал с кресла с трудом. Меня тошнило, ноги заплетались и норовили разъехаться. Комната кружилась и плыла перед глазами. Где дверь? Ручка шарахнулась в сторону. Я потянулся за ней.

– Дэвид? – позвала Тони. – Дэвид-Дэвид-Дэвид-Дэвид-Дэвид-Дэвид...

– На свежий воздух, – бормочу я. – Наружу, хоть на минутку...

Но лучше не стало. Кошмары преследовали меня и за дверью. Я прислонился к влажной стене, уцепился за мигающее бра. Мимо меня, бесшумный, словно призрак, проплыл китаец. Где-то вдалеке звонил телефон. Хлопнула дверца холодильника, затем еще и еще раз. Китаец проплыл снова в том же направлении, дверная ручка ушла от меня, и Вселенная свернулась и затянула у меня на горле петлю. Энтропия возрастала. Зеленая стена потела зеленой кровью. Голос, колючий как чертополох, спросил: «Селиг? Вам плохо?» Это Доналдсон – героинщик. Лицо у него как череп. Рука на моем плече, сплошные кости. «Вы больны, Селиг?» – спрашивает он. Я отрицательно мотаю головой... Доналдсон тянется ко мне, пустые глазницы его черепа отделяет от моего лица один дюйм. Он долго изучает меня и говорит: «Ты забалдел, парень? Правда? Слушай, если у тебя все уродуется, пошли к нам. У меня есть штука, которая помогает».

– Нет. Все в порядке.

Шатаюсь, бреду в свою комнату. Дверь внезапно стала податливой, не заперта, оказывается; толкаю ее двумя руками и ставлю на место, пока не щелкнул замок. Тони сидит там, где я ее оставил. Лицо – ужасно, чистейший Пикассо. Я в испуге отворачиваюсь.

– Дэвид?

Голос у Тони грубый, хриплый, ниже обычного октавы на две и как бы заполнен скребущей шерстью от верхних тонов и до самых нижних. Я машу руками, чтобы она замолчала, но она продолжает шуршать, хочет понять, что случилось, зачем я выбежал из комнаты. Каждый звук – мучение для меня. И образы ее перестали перетекать из ее мозга в мой. Эта вонючая летучая мышь с моим лицом еще хмурится в ее черепе. Тони, я думал, что ты любишь меня. Тони, я думал, что сделал тебя счастливой! Падаю на колени, уткнувшись головой в ковер, инкрустированный грязью. Ему миллион лет, этому вытертому, с торчащими нитками, изделию времен плейстоцена. Тони подходит ко мне, наклоняется. Одурманенная наркотиком, она заботится о своем трезвом товарище, который неким загадочным образом тоже оказался в странствии.

– Я не понимаю, – шепчет она. – Ты плачешь, Дэвид? У тебя все лицо в пятнах. Я что-нибудь сказала не так? Не обращай внимания, пожалуйста, Дэвид. У меня было такое хорошее странствие, а теперь... Я совсем не понимаю...

Летучая мышь. Вампир. Распростер резиновые крылья. Ощерил желтые клыки.

Кусается. Сосет. Пьет.

Выдавливаю из себя:

– Я... в странствии... тоже...

Мое лицо тычется в ковер. Запах пыли в сухих ноздрях. В мозгу ползают трилобиты. Летучая мышь в ее голове. Резкий смех в коридоре. Телефон. Дверь холодильника: «хлоп, хлоп, хлоп!» На лестнице танцуют каннибалы. Потолок давит мне на спину. Мой голодный мозг грабит душу Тони. То, что в шелку видно, для тебя обидно.

– Ты взял другую кислотку? – спрашивает Тони. – Когда?

– Я не брал.

– Тогда почему ты не в себе?

Не отвечаю. Пресмыкаюсь. Ежусь. Потею. Стенаю. Проваливаюсь в ад. Ведь Хаксли предупредал меня! Я не хотел, чтобы Тони пускалась в странствие. Я не просил ее видеть все это. Моя оборона разрушена. Тони поразила меня. Тони проглотила меня.

Она недоумевает:

– Ты тоже видишь, что у меня в голове, Дэвид?

– Да, вижу. – Жалкое безоговорочное признание. – Я читаю твои мысли.

– Что ты сказал?

– Сказал, что могу читать мысли. Вижу каждую. И каждое событие. Я вижу себя твоими глазами. О боже, Тони, Тони! Это ужасно!

Она тянется ко мне, хочет, чтобы я смотрел ей в лицо. Она требует разъяснений. Что это такое: чтение мыслей? Говорил я такие слова или их сочинил ее отравленный мозг? Да, я сказал, да, я говорил. Ты спросила, читаю ли я твои мысли. Я сказал: «Да!»

– Никогда не спрашивала такого, – говорит она.

– Но ты же спросила. Я слышал.

– Я не спрашивала. – Тони дрожит. Мы оба дрожим. Голос у нее слабый. – Ты хочешь испортить мое странствие. Зачем ты хочешь мне навредить? Зачем портишь все? У меня было такое хорошее странствие. Такое хорошее...

– Не для меня.

– Но ты же не был там.

– Был!

В ее взгляде полнейшее непонимание. Оттолкнувшись от меня, она со всхлипом падает на кровать. Мозг ее, сбрасывая гротесковые наркотические образы, излучает пласт простых грубых эмоций: страх, возмущение, боль, гнев. Она думает, что я нарочно хочу обидеть ее. Как бы я ни оправдывался, теперь ничего не поправишь. Она презирает меня. Я для нее вампир, кровосос, пиявка. Она знает о моем даре, вот в чем суть. Мы перешли роковой порог. Она никогда уже не будет думать обо мне без муки и стыда. И я о ней – тоже. Я бегу из комнаты в холл, к Доналдсону и Айткену. «Скверное странствие, – бормочу я. – Жалко беспокоить вас, но...»

Я оставался у них до конца дня. Они дали мне успокаивающее, мягко помогли уйти от наркоза. Галлюцинации Тони еще доходили до меня с полчаса, как будто неразрывная пуповина тянулась от нее ко мне по всему коридору. Но затем, к моему облегчению, контакт начал ускользать, бледнеть, меркнуть и, наконец, с явственно слышимым щелчком исчез окончательно. Красочные фантомы перестали беречь мою душу. Цвет, размеры и структура вещей вернулись к норме. Я снова оказался в полном одиночестве в своем черепе. Мне хотелось прослезиться в честь освобождения. Я сидел, прихлебывая бром-зельтерскую, а время потихонечку утекало. Мы беседовали – мирно, цивилизованно, без горячности – о Бахе, средневековом искусстве, Ричарде Никсоне, выпивке и многих других вещах. Я плохо знал своих собеседников, но они не пожалели времени, чтобы облегчить боль чужого человека. Мало-помалу я оправился. Вскоре после шести, сердечно поблагодарив хозяев, я вернулся в свою комнату. Тони не было. И обстановка странно изменилась. С полок исчезли книги, со стен – картины, дверь чулана была распахнута, половины вещей не хватало. Одурманенный и уста-

лый, я не сразу сообразил, что произошло. Сначала я даже решил, что нас ограбили, и только потом меня как осенило.

Тони ушла!

Глава 11

Первая примета зимы: морозец слегка пощипывает щеки. Чересчур быстро прошел октябрь. Небо выглядит больным, покрыто грустными, грузными низкими облаками. Вчера шел дождь, смывая желтые листья с деревьев, теперь они лежат на мостовой Колледж-уолк, а веточки на верхушках дрожат от пронизывающего ветра. Повсюду лужи. Усаживаюсь возле массивной зеленой туши *alma mater*, подстилаю листы газеты на холодные, сырые каменные ступени – сегодняшний выпуск «Коламбия дэйли спектейтор». Двадцать с лишним лет назад, когда я был глупым и самолюбивым новичком, мечтавшим о карьере журналиста, – здорово же: репортер, читающий мысли, – «Спек» казался мне центром жизни; теперь он служит только для обеспечения сухости моей задницы.

И вот он я, сижу. Мои приемные часы. На коленях у меня покоится толстая манильская папка, перевязанная резиновой лентой. В ней аккуратно отпечатанные, каждое с медной скрепкой, пять семестровых сочинений – результат моих трудов за неделю: «Романы Кафки», «Шоу как трагик», «Концепция синтетического. Априорные утверждения», «Одиссей как выразитель своей эпохи», «Эсхил и трагедия Аристотеля». Древнее академическое собачье дерьмо, предназначенное для того, чтобы веселые молодые люди, не желая пачкаться в нем, позволили бы старому спецу заработать на хлеб насущный. Сегодня день продажи товара, а может быть, мне удастся выудить заказы. Без пяти одиннадцать. Скоро появятся мои клиенты.

Я оглядываюсь по сторонам. Мимо спешат студенты, прижимая к себе пачки книг. Ветер треплет волосы девушек, груди у них подпрыгивают в такт шагам. Все они кажутся мне устрашающе молоденькими, даже мужчины, особенно бородатые. Понимаете ли вы, что каждый год в мире становится все больше и больше молодых? Племя их растет, а старые пердуны между тем срываются с нижнего конца кривой в могилу. Есть уже доктора наук, которые на 15 лет моложе меня. Разве это не убийцы?! Вообразите себе, ребенок родился в 1950 году, а сейчас у него уже докторская степень. В 1950 году я брился три раза в неделю и онанировал по средам и субботам. Я был половозрелым бычком, пяти футов девяти дюймов росту, с амбициями, горестями, знаниями, я был личностью. А эти новоиспеченные доктора были беззубыми младенцами, только, что выскочившими из матки, со сморщенными личиками, мокрыми от околоплодных вод. Как же они стали докторами так быстро? Обогнали меня, пока я уныло плелся по своему пути.

Когда я настраиваюсь на жалостливый лад, то нахожу свое собственное общество утомительным. Чтобы отвлечься, зондирую мысли проходящих мимо. Играю в свою старую, единственную игру. Селиг – шпион с душой вампира, высасывает интимные подробности из невинных чужаков, чтобы потешить свое холодное сердце. Но сегодня голова моя набита ватой. До меня доходит только слитное бормотание, нерасчлененное, без содержания. Ни отдельных слов, ни проблесков личности, ничего о сущности души. Плохой день. Никакого смысла в сигналах, все нити информации одинаковы. Триумф энтропии. Вспоминаю о миссис Мур у Фостера, которая пыталась найти откровение в эхе малабарских пещер, но до нее доходило лишь монотонное всепоглощающее «бум!». Все мозги, плывущие мимо меня по Колледж-уолк, сообщают мне только одно-единственное «бум!». Может быть, я не заслуживаю ничего другого? Любовь, страх, вера, преданность, благочестие, голод, самодовольство, все внутренние монологи приходят ко мне одинаково: «Бум!» Надо потрудиться, чтобы исправить это. Еще не слишком поздно для войны с энтропией. И вот постепенно, стараясь, потев, стремясь к достойной цели, убеждая свое восприятие функционировать, я раздвигаю просвет. Да, да! Назад, к жизни! Просыпайся, проклятый шпион! Выдай мне положенную порцию информации. И сила моя возвращается. Внутренний мрак слегка проясняется. Полосы изолированных, но осмысленных мыслей находят дорогу в мой мозг... «Невротик, но не псих же...» – «Пойду

к начальнику отделения, пусть раскопают все это...» – «Билеты в оперу, но я должна...» – «Трахаться приятно, трахаться очень важно, но есть и большее...» – «Словно стоишь на вышке перед прыжком...» Хаотическая болтовня, однако она означает, что дар мой еще не умер, и это меня немного утешает. Мой дар всегда представлялся мне как бы червяком, обернувшимся вокруг мозга. Бедный усталый червяк, морщинистый и усыхающий. Кожа его, некогда блестящая, ныне покрыта вонючими чешуйками. Такой образ пришел ко мне недавно, но даже и в лучшие дни я считал свой дар чем-то чуждым, посторонним. Жилец! Он и я, я и он. Я обсуждал подобные вещи с Найквистом. (Он не упоминался еще в этих излияниях? Возможно, нет. Человек, которого я когда-то знал, бывший мой друг. В его черепе тоже обитал своего рода пришелец.) Так вот, Найквисту мое сравнение не понравилось.

– Такое раздвоение бывает у шизоидов, – сказал он. – Твой дар – это ты, а ты – твоя сила. Зачем отделять себя от собственного мозга?

Возможно, Найквист и был прав, но объяснение пришло слишком поздно. Пусть будет как раньше. Он и я, по отдельности, пока смерть не разлучит нас окончательно.

А вот и мой клиент – могучий полузащитник Пол Ф. Бруна. Лицо у него раздутое и багровое. Он не улыбается, поскольку субботний героизм обошелся ему в несколько зубов. Я развязываю резиновую ленту, извлекаю «Романы Кафки» и вручаю ему сочинение.

– Шесть страниц, – говорю я. – Аванс я получил в свое время – десять долларов. Вы должны мне еще одиннадцать баксов. Хотите сначала прочесть?

– Хорошо получилось?

– Не пожалеете.

– Верю вам на слово. – Он строит болезненную гримасу, извлекает толстый бумажник и кладет мне на ладонь зеленые. Я тут же проникаю в его мозг, поскольку сила моя, черт возьми, вернулась. Один взгляд, и я считываю с верхнего уровня зубы, выбитые на футболе, в качестве утешения – хорошая драка в клубе Братства в субботу вечером, смутная надежда отоспаться как следует после следующей субботней игры и т. д. и т. д. А в отношении сегодняшней сделки – чувство вины, смущение и даже некоторое раздражение против меня за то, что я ему помог. Вот она, благодарность голя. Я сую деньги в карман. Он благодарит коротким кивком и уносит «Романы Кафки», прикрывая их рукой, – видимо, стыдясь. Торопливо бежит вниз по лестнице к Гамильтон-Холлу. Я слежу, как удаляется его широкая спина. Внезапный порыв холодного ветра, поднявшегося от Гудзона, пробирает меня до костей.

Бруна остановился у солнечных часов, где его окликнул тощий черный студент добрых семи футов ростом. Очевидно, баскетболист. На нем синяя форменная куртка, зеленые теннисные туфли и тугие трубообразные желтые брюки. Такое впечатление, что только одни ноги у него не меньше пяти футов длиной. Бруна показывает ему головой на меня; черный кивает. Кажется, я приобрел нового клиента. Затем Бруна исчезает, а верзила проворно перебегает дорогу и поднимается по ступенькам. Его кожа настолько черна, что даже отликает лиловым, но в чертах есть приметы кавказской расы: угловатость, резкие свирепые скулы, гордый орлиный нос, тонкие холодные губы. Он определенно красив, эдакая ходячая статуя, своего рода идол. Может быть, гены его вообще не негроидные, а эфиопские, или же тех племен, что живут по берегам Нила. И все же на голове у него темная как ночь масса курчавых волос, агрессивное африканское гало, замысловатая прическа, футом или даже больше в диаметре. Меня не удивили бы надрезы на щеках или кость, продетая сквозь ноздри. Когда он приближается, мой разум, едва скользнув по поверхности, ловит общие периферийные излучения его личности. Все предсказуемо, даже стереотипно. Я и раньше ожидал, что он обидчив, зол, заносчив, готов к отпору. Но вот что до меня доходит еще: яростная расовая гордость, потрясающее физическое самодовольство, воинственное недоверие к другим, особенно белым. Знакомые черты.

Его длинная тень ложится на меня, будто солнце внезапно зашло за облако... «Вы Селиг?» – спрашивает он, покачиваясь на пятках. Я киваю. Тогда он изрекает:

- Яхья Лумумба.
- Прошу прощения?
- Яхь-я Лу-мум-ба.

Блестящие белки его глаз, окаймленные блестящим же пурпуром, сверкают от злости. По тону его я понимаю, что он назвал свое имя, или, по крайней мере, то имя, каким предпочитает пользоваться. И еще понимаю, что, по его мнению, это имя должно внушать почтение всем и каждому в кампусе. Но что я знаю о современных «звездах» колледжа? Может быть, он способен выиграть пятьдесят мячей за одну игру, но я-то о нем не слышал.

- Говорят, ты пишешь сочинения, парень? – спрашивает он.
- Правильно.
- Тебя рекомендовал мой приятель, Бруна. Сколько ты берешь?
- Три с половиной доллара за страницу на машинке. Два экземпляра.

Подсчитав в уме, он возмущается:

- Ну и обдираловка!

– Так я зарабатываю себе на жизнь, мистер Лумумба. – Ненавижу себя за это гадкое, трусливое «мистер». – Получается около двадцати долларов за сочинение среднего размера. Приличная работа требует много времени, так?

– Да-да. – Отработанное манерное пожатие плечами. – О'кей. Я не буду торговаться с тобой, парень. Мне нужна твоя работа. Ты знаешь что-нибудь о Европайде?

- Еврипиде?

– Я так и сказал. – Он подмигивает мне, с преувеличенной манерностью напирая на свое «дынное» (южнонегритянское) произношение. – Тот греческий тип, который писал пьесы.

– Я знаю, кого вы имеете в виду. Какого рода сочинение о Еврипиде вам нужно, мистер Лумумба?

Он извлекает из верхнего кармана куртки листок и разыгрывает целое представление, притворяясь, будто читает:

– Проф, он хочет, чтобы мы сравнили тему Электры у Европайда, Софокла и Иск... Эйск...

- Эсхила?

– Ну да, его. Пять-десять страниц. К десятому ноября. Успеешь провернуть?

– Наверно, смогу. Больших трудностей не будет. – В моих закромах лежит мое собственное сочинение 1952 года на ту же самую старую, избитую, затасканную тему. – Но мне нужны некоторые данные для заглавной страницы. Как пишется в точности ваше имя, фамилия профессора, номер курса...

Он начинает мне диктовать. Одновременно я настраиваюсь на сканирование его мозга, чтобы составить представление о его знаниях и подходящей лично для него тональности сочинения. О, это было бы классическое произведение, если бы я написал про Европайда на южнонегритянском «дынном» жаргоне, со всеми этими их словечками – «хиппово, лажово, джазисто, соплисто», каждой строкой издеваясь над жирной профессорской рожей. Я-то мог бы, но Лумумба не обрадуется. Подумает, что я нарочно, что я высмеиваю его, а не профессора. Так что, пожалуй, не стоит. Поэтому я запускаю свои змеиные щупальца глубже под его шерстяной скальп, в серый студень мозга: «Эй, большой черный человек! Рассказывай, что ты за личность!» – и выдавливаю яркую картину, куда более яркую, чем то зрелище, которое он обычно являет собой на людях. У него на лице написаны гордыня черномазого, недоверие к бледнолицему чужаку, самодовольное восхищение своей длинноногой мускулистой фигурой. Но это только общий настрой, стандартная меблировка его ума. Пока что я не проник в суть Яхьи Лумумбы, уникального индивидуума, в чей стиль я должен войти. Зондирую глубже. И чувствую жар, словно шахтер на глубине в пять миль, приближающийся к очагу расплавленной магмы. Понимаю, что этот Лумумба как бы постоянно кипит. Накал его мятежной души насто-

раживает меня, но я еще не получил достаточно информации и продолжаю углубляться, пока поток его неистовства не захлестывает меня с убийственной силой: «Жид хренов. Мамочка его лысая напихала ему в голову дерьма, тянет с меня три с половиной за страницу, надо бы ужидить жида, шкурника, паразита, чтобы не выпендривался своим еврейством. Ручаюсь, у него особая цена для черных. Я бы выкинул его зубы на помойку, если бы сам мог написать эту собачью работу, но я не могу. На кой черт мне тратиться на этого, мать его, Европайда, Софокла, Искила, знать не хочу это дерьмо, другое в голове, с «Роджерами» игра очко в очко, судья дает мяч, и он для Лумумбы. И все думают – промажет. А он на черте, большой, уверенный, шесть футов десять дюймов, держит рекорд на счету Колумбии. Один мяч, второй! У Лумумбы планы на сегодняшнюю вечеринку. Европайд, Софокл, Искил, какого хрена должен я знать о них, что хорошего написали они для черного человека, эти дохлые занюханые греки? Все только для жидовского дерьма. Что они знают о четырех веках рабства, у нас другое в голове, что знают они, особенно эта мамаша со своим вырожденком? Теперь я должен платить ему двадцать баксов за то, в чем не силен, скажет, я должен, что хорошего в этом, почему, почему, почему?»

Ревущая топка. Ошеломляющий жар. Я имел дело с горячими головами, но этот – самый горячий. Имел дело, но тогда я был моложе, сильнее, устойчивее. Сейчас я не могу выдерживать такой вулканический напор. Сила презрения этой живой башни магнетически усиливает мое презрение к самому себе, заставляет меня сочувствовать ему. Он – воплощение ненависти. Мой бедный слабеющий дар не может вынести ее. Некий автоматический предохранитель отключается, чтобы уберечь меня от перегрузки: ментальные рецепторы замыкаются. Это что-то новое для меня, что-то странное: что за непонятный глушитель? Как будто нет ни ушей, ни глаз, ни мыслей, одно лишь гладкое туловище. Все сигналы гаснут, мозг Лумумбы отодвигается, становится непроницаемым, меня выталкивает из глубины, я принимаю только самые общие излучения, затем исчезают и они. Остаются лишь серые мутные выделения, говорящие о присутствии другого человека. И вот неразлично все. Связь прервана. В ушах у меня звон, это результат внезапного молчания, молчания, оглушительного как гром... Новый этап моего падения. Никогда еще я не терял так свою хватку, не выскальзывал так из чужого мозга. Гляжу снизу вверх, изумленный, потрясенный.

Тонкие губы Яхьи Лумумбы туго сжаты, он смотрит на меня с отвращением, не подозревая, что со мной происходит. Слабым голоском говорю:

– Я хотел бы получить десять долларов в качестве аванса. Остальное заплатите, когда я вручу вам сочинение.

Он заявляет, что сегодня у него нет с собой денег. Его очередной чек из студенческого фонда не действует до начала следующего месяца. По его мнению, я должен делать работу под честное слово...

– Берись или отказывайся, парень.

– Можете вы заплатить пять? – спрашиваю. – Для почина. Так я не могу... У меня свои расходы.

Он смотрит свирепо откуда-то из-под облаков. Вытянулся в полный рост на девять или десять футов, не меньше. Ни слова не говоря, вытаскивает пять долларов, комкает и с презрением швыряет мне на колени.

– Я буду здесь девятого ноября утром, – бормочу я ему вслед.

Европайд, Софокл, Ихил!!! Сижу оглушенный, трепещущий и прислушиваюсь к гремящей тишине. Бум! Бум! Бум!

Глава 12

В те минуты, когда его, как героев Достоевского, терзали мучительные сомнения, Дэвид Селиг думал, что его странная сила – проклятие, страшное наказание за некий невообразимый грех. Каинова печать, может быть. Конечно, этот дар причинял ему массу хлопот, но, с другой стороны, он понимал, что назвать проклятием свою редкостную способность – просто дерьмовый мелодраматизм. Сила – дар небес. Сила приводит его в экстаз. Без этой силы он – ничто, а с силой он – бог. Какое же это проклятие? И что в нем ужасного? Нечто забавное произошло, когда гамета встретилась с гаметой в чреве матери и судьба воскликнула: «Будь богом, малыш Селиг!» И это ты отвергнешь? Софокл, в возрасте 88 лет или около того, радовался, что избавился от гнета физических страстей. «Я свободен, наконец, от тирании своего хозяина», – говорил мудрый и счастливый Софокл. Но можем ли мы сделать вывод, что Софокл, если бы Зевс дал ему возможность изменить всю свою жизнь, выбрал бы пожизненную импотенцию? Не валяй дурака, Дэвид: неважно, что телепатия насильовала тебя, а она насильовала тебя основательно, ты не отказался бы от нее ни на миг. Потому что она приносит тебе радость.

Дар твой приносит радость. Суть толстеного фолианта в одной фразе. Смертные рождены в юдоли слез, и они находят радости там, где могут найти. Некоторые в сексе, другие в наркотиках, алкоголе, телевидении, кино, картах, биржевой игре, на бегах, в рулетке, коллекционировании древних изданий, карибских круизах, китайских табакерках, англосаксонской поэзии, профессиональном футболе, кто в чем. Но все это не для него, не для Дэвида Селига с его проклятием. Его назначение – сидеть спокойно и впитывать потоки мыслеволн, принесенных телепатическим бризом. С величайшей легкостью он проживает сотню добавочных жизней. У него внутри сокровищница с тысячами душ. Экстаз! Конечно, экстатическая составляющая была когда-то наиважнейшей в начале жизни.

Наилучшие свои годы он прожил с четырнадцати до двадцати пяти. До того он был слишком наивен, еще не оформился, не мог полностью оценить информацию из чужих мозгов. Позднее же растущая горечь, тоскливое ощущение изоляции подавляли радость. От четырнадцати до двадцати пяти. Ах, эти золотые годы!

Тогда все было живее. Жизнь казалась сном наяву. В мире будто не существовало стен: он мог проникнуть куда угодно, увидеть все, что угодно. Ошеломительный аромат бытия. Погружение в настой восприятия. Только после сорока Селиг понял, как много он утратил с годами и в фокусировке, и в глубине. Сила его начала заметно тускнеть после тридцати с хвостиком. Вероятно, она и до того слабела, но так постепенно, что он даже не сознавал этого. Изменения происходили, безусловно, но скорее качественные, а не количественные. Теперь, даже в лучшие дни, прием не был столь четким, как в ранней юности. В те далекие годы он принимал не только обрывки рассуждений или рассеянные кусочки чувств, но также и целиком всю Вселенную, буйство красок, ароматов, текстур; весь мир со своим бесконечным набором ощущений был в его распоряжении и ради удовольствия Дэвида отображался на округлом экране двух полушарий его мозга.

Например: вот он лежит, разморенный полуденным солнцем, на щекочущем стоге августовского сена. Вокруг летний пейзаж в стиле Брейгеля. 1950 год. Дэвид где-то на полпути между своим пятнадцатым и шестнадцатым днями рождения. Слышатся звуки – маэстро Бетховен, Шестая симфония, нежное бурление, сладко поют флейты и игривые пикколо. Солнце повисло в безоблачном небе. Легкий ветерок шевелит ветви ив, что окаймляют по периметру поле. Дрожат молоденькие колоски, журчит ручеек, кружит над головой скворец. Селиг слышит кузнечиков. Слышит гудение moskitов, спокойно следит, как они снижаются, садятся на его голую, безволосую, блестящую от пота грудь. Он бос, на нем только тугие темно-синие джинсы. Городской мальчик на отдыхе в деревне.

Ферма в Катскиллских горах, двенадцать миль к северу от Элленвилла. Она принадлежит Шиям – семейству рыжих тевтонов, которые торгуют яйцами и зерном и помимо этого подрабатывают, сдавая домик для гостей горожанам, жаждущим отдохнуть на свежем воздухе. В этом году у них живут Сэм и Аннета Штейн из Бруклина, штат Нью-Йорк, с дочерью Барбарой. Штейны же пригласили провести неделю на ферме своих близких друзей, Пола и Марту Селиг, а также их сына Дэвида и дочь Джудит. (Сэм Штейн и Пол Селиг строили тогда планы, которые должны были полностью опустошить их банковские счета и разрушить дружбу двух семей. Планы состояли в том, чтобы стать партнерами по поставке запасных частей для телевизоров. Пола Селига всегда тянуло на неразумные авантюры в бизнесе.) Сегодня, на третий день их визита, Дэвид случайно оказался в полном одиночестве. Отец его вместе с Сэмом удалился в окрестные холмы, чтобы обсудить на приволье все детали своей задумки. Жены, взяв с собой пятилетнюю Джудит, уехали обследовать старые лавки Элленвилла. Дома не осталось никого, кроме молчаливых Шилей, погруженных в свои домашние дела, и 16-летней Барбары Штейн, которая училась в одной школе с Дэвидом начиная с третьего класса. Волей-неволей Дэвид и Барбара должны были провести вместе целый день. Штейны и Селиги, очевидно, лелеяли надежду, что между их отпрысками разовьется роман. Весьма наивно с их стороны. Барбара, сочная, безусловно красивая черноволосая девочка, длинноногая, с гладкой кожей, была старше Дэвида на шесть месяцев хронологически и на три или четыре года по развитию. Нельзя сказать, что он был ей неприятен, но все же казался странным, чуждым и даже отталкивающим существом. Она не знала о его особом даре, никто не знал, но у нее было семь лет, чтобы приглядеться к нему и почувствовать что-то подозрительное... Барбара была заурядной натурой, настроилась рано выйти замуж (за доктора, адвоката или страхового агента), иметь кучу детей, и, разумеется, роман с чудакватым Дэвидом ее не прельщал. Дэвид понимал это очень хорошо, поэтому не был ни удивлен, ни разочарован, когда Барбара после полудня ускользнула из дома. «Если кто-нибудь спросит, – велела она, – скажи, что я пошла погулять в лес». Под мышкой у нее был сборник стихов, но книжка не ввела Дэвида в заблуждение. Он знал, что Барбара, едва выдается возможность, бежит трахаться с 19-летним Гансом Шилем.

И вот он предоставлен сам себе. Неважно, у него найдется чем поразвлечься. Он немножко походил по ферме, поглазел на курятник и комбайн, а затем забрался на стог, зная, что тут его вряд ли кто потревожит. Что ж, пора посмотреть мыслепфильм. Дэвид лениво раскинул свой невод. Сила его проснулась и двинулась наружу в поисках излучений. Ну, и что нам почитать, что почитать? А, вот оно, ощущение контакта. Вопрошающий мозг поймал чей-то другой, маленький, гудящий, тусклый, но сильный. Пчелиный мозг. Контакты у Дэвида устанавливались не только с людьми. Конечно, от пчелы не поступают ни слова, ни понятия. Если пчела и может думать, Дэвид неспособен расшифровать ее мысли. Но он может войти и в мозг насекомого, почувствовать, что такое – быть маленьким, юрким, крылатым и пушистым. До чего же сух мир пчелы: бескровен, безводен, бесплоден! Он взлетает вместе с пчелой. Снижается. Спасается от пролетающей птицы, чудовищного крылатого слона. Глубоко зарывается в ароматную пыльцу цветка. Взмывает снова. Смотрит на мир через фасеточные глаза. В них все расколото на тысячи кусочков, словно смотришь сквозь растрескавшееся стекло; и основной цвет – серый, но со странными вкраплениями синего и алого. Это так не похоже на привычные для нас краски, – напоминает наркотические эффекты, мог бы он сказать двадцать лет спустя. Но мозг пчелы очень ограничен. Дэвид резко бросает насекомое и переключает внимание на хлев. Душа курицы. О, да она несет яйцо! Ритмичные потуги, приятные и болезненные одновременно, словно испражняешься, но с трудом. Неистовое кудахтанье. Запах курятника, острый и колючий. Слишком много соломы вокруг. Мир курицы темный и тупой. О небо, о небо! Ухх! Оргазм. Восхищение. Яйцо скользит через проход и укладывается в целости в гнездо. Курица оседает, довольная, усталая, опустошенная. Дэвид покидает ее в момент экстаза и направляется в окружающие леса в поисках людских умов. Насколько богаче, насколько

сильнее связь с представителями своего вида! Его личность сливается с личностями индукторов. Это Барбара Штейн, она с Гансом Шилем, совершенно нагая, лежит на ковре из прошлогодних листьев. Ноги ее раздвинуты, глаза закрыты. Тело мокрое от пота. Пальцы Ганса впиываются в ее мягкую плоть, грубая белобрысая щетина царапает кожу девушки. Под тяжестью мужского тела грудь ее стала плоской, воздух начисто выжат из легких. Ганс ритмично вводит в нее свой длинный член, таранит снова и снова. Трепет повторными волнами распространяется от лона, постепенно слабея с расстоянием. Сквозь ее мозг Дэвид следит за воздействием твердого пениса на нежную, скользкую внутреннюю оболочку. Он слышит громкое сердцебиение девушки. Замечает, как она барабанит пятками по ногам Ганса. Слизь ее собственных выделений на ягодицах и бедрах. И в заключение Дэвид ощущает первые судороги оргазма. Он старается не расстаться с Барбарой, но знает заранее, что это не получится. Удерживать чужое сознание в такой момент – все равно что оседлать дикую лошадь. Таз Барбары ерзает по земле, ногти царапают спину любовника, голова дергается из стороны в сторону, рот жадно ловит воздух, и на вершине наслаждения она вышвыривает Дэвида из своего непокорного ума. Однако, проделав небольшой путь, он переселяется в мозг Ганса Шилия, который бесплатно объясняет жадно любопытному девственнику, что ты ощущаешь, греясь в огне женщины и тараня, тараня, тараня, хотя мускулы ее тела яростно сжимаются, сопротивляясь разбухшему рогу. А затем, почти немедленно, приходит радость кульминации. Дэвид напрягает всю свою силу, чтобы сохранить контакт в суматохе окончания. Но нет, его выталкивают, он несется куда-то, не разбирая дороги, пока не находит новое прибежище. Здесь тихо. Он скользит в темноте и прохладе. Веса нет совсем. Тело длинное, нежное и проворное. Ум почти пуст, через него пробегают лишь слабые холодные ощущения низшего порядка. На этот раз он вошел в сознание рыбы, наверно, речной форели. Он несется вниз по течению быстрого потока, наслаждается плавностью своего движения и податливостью чистой ледяной воды, омывающей плавники. Дэвид видит очень мало, обоняет еще меньше. Информация приходит к нему в виде тончайших прикосновений к чешуйкам. Легко воспринимая каждое новое явление, он пошевеливает плавниками, чтобы избежать зубов или камней или же войти в более быстрое течение. Процесс этот приятен сам по себе, но форель слишком уж тупа, и Дэвид, которому вполне хватило двух-трех минут в сознании рыбы, легко перемещается в более сложный мозг, в мозг упрямого старика Георга Шилия – отца Ганса. В этой голове Дэвид еще не бывал ни разу. Старик далеко за шестьдесят, он угрюм, неуступчив, говорит мало, весь долгий день рассказывает по имению с хмурым выражением, застывшим на суровом квадратном лице. Дэвид подумал как-то, уж не побывал ли Шиль в нацистских концлагерях, но нет, он приехал в Америку в 1935 году. Фермера окружает плотная аура недоброжелательности, и Дэвид поэтому старался держаться от него подальше, но форель так наскучила ему, что юноша преодолел обычную робость. Быстро миновав мысленную жвачку, типичную для необразованного немца обывателя, Дэвид нащупал дно души, то место, где обитает самая ее суть. Поразительно! Старый Шиль, оказывается, был мистиком. Но никакой суровости, ни тени мрачной мстительности лютеранства. Чистейший буддизм. Стоя на щедрой почве своего поля и опираясь на мотыгу, старик общался со Вселенной. Бог наполнял его душу. Он ощущал единство всех вещей. Небо, деревья, земля, солнце, ручей, растения, насекомые, птицы – все едино, все – части одного целого. И Шиль резонирует всеобщей гармонии. Как это может быть? Такой мрачный, необщительный – и вдруг подобный восторг? Ощути же его радость! Старик весь пропитан чувством. Песни птиц, солнечный свет, аромат цветов, комья нетронутой земли, трепет острых зеленых стебельков, ручьи пота в глубоких морщинах шеи, кривизна планеты, неясные очертания полной луны – у человека тысячи радостей. Весь мир – могучий гимн. И Дэвид, присоединившись к старику, мысленно преклоняет колени. Он охвачен благоговейным трепетом. Но тут Шиль, прервав свое неподвижное созерцание, поднимает мотыгу, ударяет, твердые мускулы напрягаются, металл врезается в землю, все идет как полагается, все отвечает божественному плану. И так проводит свои

дни старый Шиль? Возможно ли такое счастье? Дэвид с удивлением замечает, что на глаза ему навернулись слезы. Этот простой ограниченный человек живет словно в благодати. Внезапно помрачнев и горько завидуя, Дэвид отрывается от его мозга, возвращается в лес, снова к Барбаре. Она лежит на спине, потная и утомленная. Через ее ноздри Дэвид ощущает горьковатый запах спермы. Руками она вытирает кожу, сбрасывая с себя кусочки листьев и травы. Лениво касается смягчившихся сосков. Мысли ее текут медленно, лениво, почти такие же пустые, как у форели. Кажется, секс выжал из нее личность. Дэвид переключается на Ганса, но и тому, похоже, не лучше. Лежа рядом с Барбарой, вялый и податливый, он все еще тяжело дышит. Пыл миновал, желание погасло. Сонно глядя на девушку, которой он только что обладал, Ганс воспринимает лишь запах тела, видит лишь растрепанные волосы. Где-то в глубине сознания бродит тоскливая мысль, выраженная грубым немецким словом, но в английской орфографии, насчет девушки с соседней фермы, которая делала ртом кое-что, от чего отказалась Барбара. С той Ганс встретится в субботу вечером. «Бедная Барбара! – жалеет Дэвид. – Что бы она сказала, если бы узнала о размышлениях Ганса?» Дэвид пробует проложить между двумя мозгами мостик в напрасной надежде заставить мысли перетекать из одного в другой. Но он ошибается в определении расстояния и нечаянно перескакивает в мозг старого Шилия, сохраняя при этом контакт с Гансом. Отец и сын, старый и молодой, посвященный и нечестивец. Одно мгновение Дэвид поддерживает двойной контакт. Он ощущает громогласное единство жизни.

Так было в те годы всегда: бесконечное странствие по чужим умам. Но сила слабела, и краски со временем блекли. Мир мало-помалу становился серым. Всемогущество энтропии. Все уходит. Все умирает.

Глава 13

Темная неустроенная квартирка Джудит насквозь пропахла пряностями. Я слышу, как она суетится на кухне, высыпая в кастрюлю жгучий перец, орегано, полынь, гвоздику, чеснок, сухую горчицу, кунжутное масло, порошок карри и бог знает что еще. На огне булькает котелок. Готовится знаменитый жгучий соус к спагетти – смешанный продукт по рецепту таинственного происхождения – частью из Мексики, частью из Шичуаня, частью из Мадраса и кое-что лично от Джудит. Моя несчастная сестра вовсе не прирожденная домохозяйка, но то, что она умеет готовить, просто великолепно; ее спагетти знамениты на трех континентах. Уверен, были мужчины, которые ложились с ней в постель только ради права обедать здесь.

Я пришел слишком рано, за полчаса до назначенного времени, и застал Джудит врасплох, даже не одетой к столу, так что пока она занимается обедом, я предоставлен сам себе. «Налей пока что-нибудь!» – кричит она из кухни. Я подхожу к буфету, наливаю черного рому, затем отправляюсь на кухню за кубиками льда. Взволнованная Джудит в халате и с повязкой на голове летает туда-сюда, хватая то одну, то другую баночку со специями. Все, чем она занимается, делается на высочайшей скорости. «Буду готова через десять минут, – бросает она, доставая мельничку для перца. – Мальчуган тебе не слишком мешает?»

Имеется в виду мой племянник. Его называли Пол в честь нашего отца, который давно уже на небесах. Но Джудит никогда не называет сына по имени, только «малыш» или «мальчуган». Дитя разведенных родителей, он обречен ходить на коротком поводке у своей матери.

– Нет, нисколько, – уверяю я, возвращаясь в гостиную.

Джудит живет в одном из огромных старых вестсайдских домов. Просторные комнаты с высокими потолками словно окутывает аура интеллигентности, – в подобных квартирах, как раз по соседству, обитает множество драматургов, поэтов и хореографов. Громадная гостиная, окна которой выходят на Вэст-Энд-авеню, столовая, большая кухня, спальня, детская, комната служанки, две ванны. И все – для Джудит и ее отпрыска. Квартирная плата космического масштаба, но Джудит это не пугает. Она получает тысячу в месяц от «своего бывшего» и вдобавок скромно зарабатывает на жизнь как редактор и переводчик. Помимо того, кое-какой доход обеспечивают ей акции, которые она купила несколько лет назад на свою долю из наследства наших родителей по подсказке своего очередного любовника, дельца с Уолл-стрит. (Моя доля пошла на покрытие накопившихся долгов, растаяв, как снег в июне.) Квартира была обставлена частично в стиле 1960-го, Гринвич Виллидж, а частично в манере 1970-го «элегантный урбанизм», – черные торшеры, стулья из серых трубок, красно-кирпичные книжные шкафы, дешевые гравюры и залитые воском бутылки кьянти принадлежат первому, тогда как второй – кожаные кушетки, индейская глиняная посуда, шелковые ширмы, стеклянные столики для кофе и гигантский кактус в горшке. Из тысячедолларового проигрывателя раздаются аккорды сонаты Баха для клавесина. Блестящий как зеркало пол цвета черного дерева устилают пестрые ковры. У одной стены громоздятся груды потрепанных книжек. Напротив стоят два деревянных бочонка с вином, присланных Джудит ее поставщиком. Хорошая жизнь у моей сестры, хорошая и несчастная.

Ребенок недоверчиво смотрит на меня. Он расположился чуть поодаль, вертит в руках какую-то хитроумную игрушку и не сводит с меня глаз. Угрюмое и замкнутое дитя, такой тощенький малец, вечно в напряжении, как и его мать. Любви между нами нет. Но я побывал в его головке и знаю, что он обо мне думает. Для него я – один из многих мужчин в жизни его матери, вроде бы настоящий дядя, но не слишком отличающийся от бесчисленных псевдодядей, иногда спящих наверху, один из ее любовников, появляющийся чаще других. Простительная ошибка. Но на остальных он обижается только за то, что они отнимают у него внимание матери, а я хуже всех: он чувствует, что я причиняю ей боль, и ненавидит меня. Ему хватило

сообразительности догадаться, что наши с Джудит отношения исполнены застарелой взаимной неприязни. Я враг, и он, если бы мог, разорвал бы меня на куски.

Итак, я прихлебываю ром, слушаю Баха, неискренне улыбаюсь Полу и вдыхаю аромат соуса к спагетти. Сила моя дремлет. Я стараюсь не пользоваться ею здесь, да и вообще сегодня она слабовата. Но вот появляется Джудит и кидает на ходу: «Пойдем поговорим, пока я одеваюсь, Дэви. Я слеую за ней в спальню, сажусь на кровать; а она скрывается в ванной и притворяет дверь, оставив щелку в дюйм или два. В последний раз голой я видел сестру лет в семь.

– Я рада, что ты решил прийти, – говорит она.

– Я тоже.

– Но ты выглядишь совсем больным.

– Только голодным, Джуди.

– Потерпи пять минут. – Слышно, как бежит из крана вода. Джудит говорит что-то еще, но плеск воды заглушает ее слова. Я лениво оглядываю спальню. На дверной ручке шкафа висит белая мужская рубашка, Джудит она явно великовата. На ночном столике лежат два толстенных тома, с виду похожих на учебники: «Аналитическая нейроэндокринология» и «Очерки физиологии терморегуляции». Никогда не поверю, чтобы Джудит могла читать такое. Может быть, ей заказали перевести их на французский? Но экземпляры новехонькие, хотя одна книга издана в 1964 году, а другая в 1969-м. Обе принадлежат перу одного и того же автора: К. Ф. Сильвестри, доктора медицинских и философских работ.

– Ты собираешься поступить в медицинскую школу? – спрашиваю я.

– Ты про книги? Это труды Карла.

Карл? Новое имя. Доктор Карл Ф. Сильвестри. Я слегка прикасаюсь к мозгу сестры и извлекаю образ: высокий, широкоплечий мужчина, суровое лицо, волевой подбородок с ямочкой, копна седых волос. Должно быть, лет под пятьдесят. Похоже, Джудит переключилась на старичков. Пока я рыскаю в ее сознании, она рассказывает о своем нынешнем «друге», очередном «дяде» ребенка. Он – светило науки, трудится в Медицинском центре Колумбийского университета, большой знаток человеческого тела. Очевидно, ее тела тоже. Двадцать пять лет состоял в браке и недавно развелся. Н-да, сестрица в своем репертуаре. Они встретились три недели тому назад у общего знакомого – психоаналитика. Виделись с тех пор четыре или пять раз; Карл постоянно занят – семинары, конференции в клиниках, консультации. Не так уж давно Джудит поведала мне, что запуталась и что, вполне вероятно, с мужчинами в ее жизни покончено. Как видно, обстоятельства изменились. Должно быть, дело серьезное: уж если она пытается читать его книги! Для меня это китайская грамота: схемы, статистические таблицы, тяжеловесная латинская терминология...

Джудит выходит из ванной в обтягивающем брючном костюме лиловых тонов, в ушах у нее хрустальные серьги, которые я подарил ей к 29-летию. Когда я навещаю Джудит, то заранее готовлюсь к тому, что она постарается пробудить во мне родственные чувства, нацепит на себя что-нибудь эдакое, что должно вызвать отклик у меня в душе. Примета восстановления добрых отношений: мы на цыпочках ходим по саду, где похоронена наша ненависть, обнимаемся, как и положено брату с сестрой. А духи у нее ничего, приятные.

– Извини, у меня такой беспорядок, – говорит она.

– Сам виноват, нечего было приходить раньше назначенного времени. Зато ты в полном порядке.

Она ведет меня в гостиную. Держится прекрасно. Джудит красивая женщина, высокая и статная; ни дать ни взять восточная красавица – черные волосы, смуглая кожа, острые скулы. Стройна и темпераментна. Полагаю, ее считают весьма сексуальной, хотя в тонких губах и блестящих карих глазах таится жестокость, которая, усилившись в годы неустройства после развода, отталкивает от нее людей. У сестры были десятки любовников, даже сотни, но любви перепало не слишком много. Я и ты, сестричка, ты и я. Осколки былого, щепки старого полена.

Она накрывает на стол, а я тем временем готовлю для нее коктейль: как обычно, перно со льдом. Ребенок, слава богу, уже поел. Играет своими пластиковыми штучками, время от времени награждая меня кислым взглядом. Мы с Джудит чокаемся – обязательная условность. Она принужденно улыбается.

– Будь здоров! – говорим мы.

– Почему ты не переедешь в центр? – спрашивает она. – Мы могли бы видеться чаще.

– Там дешевле. А разве мы хотим видеться чаще?

– А что нам остается?

– У тебя есть Карл.

– Нет у меня никого. Только мой малыш и мой брат.

Я вспоминаю, как в детстве мне хотелось прикончить ее. Но она же об этом не знает.

– Мы на самом деле друзья, Джуди?

– Сейчас – да.

– Мы не очень-то тепло относились друг к другу все эти годы.

– Люди меняются, Дэви. Люди растут. Я была глупой, полная голова дерьма, так занята собой, что все остальные вызывали у меня одну ненависть. Это прошло. Если не веришь, проверь сам.

– Ты же не хочешь, чтобы я это делал.

– Давай, – говорит она. – Пошарь в моей голове, посмотри, и ты увидишь, как я изменилась.

– Нет, лучше не буду. – Наливаю себе еще рому на две унции. Рука моя немножечко дрожит. – А не пора ли выключить соус? Он не перекипел?

– Пусть себе кипит! Я еще не допила. Дэви, у тебя по-прежнему неприятности? Ну, с твоей силой?

– Да. Мне от них, похоже, не избавиться.

– Как ты думаешь, почему?

Я вздрагиваю. Эх, беззаботное мое прошлое!

– Теряю, вот и все, как волосы на голове. Когда ты молод, их предостаточно, потом все меньше и меньше, а под конец нет ничего. А, к чертям! Все равно толку от нее чуть.

– Ты неискренен.

– С чего ты взяла?

– Ты не такой, как все, особенный. Если кто-нибудь хочет тебе навредить, ты всегда можешь узнать об этом заранее, ты можешь читать чужие мысли и видеть невидимое. Ты имеешь дело с душами людей. Нет, твой дар – он от Бога.

– Бесплезный дар, годится разве что для шоу-бизнеса.

– Зато ты стал богаче как личность, да, богаче и интереснее. Прости, пожалуйста, но без своего дара ты был бы заурядным человеком.

– Ну, заурядности он мне не убавил. Кто я? Так, ничто, нуль. Без него мне могло бы повезти, а с ним я несчастен.

– Слишком уж ты себя жалеешь, Дэви.

– Потому что есть за что. Еще перно, Джуди?

– Нет, спасибо. Пойду посмотрю, как у нас с обедом. Будь добр, разлей пока вино.

Она уходит на кухню. Я разливаю вино, затем ставлю на стол салатницу. Ребенок у меня за спиной принимается бормотать нечто бессмысленное. Я прислушиваюсь к его взрослому голосу, и даже при теперешнем моем притупленном восприятии ощущаю затылком холодную ненависть мальчика. Джудит возвращается, неся основательно уставленный поднос: спагетти, хлеб с чесноком, сыр. Она дружелюбно улыбается мне, и мы садимся за стол. Чокаемся, затем в течение нескольких минут молча поглощаем обед. Я хвалю спагетти. Польщенная, она спрашивает:

- Можно мне немножко почитать твои мысли, Дэви?
- Милости просим в гости.
- Ты говоришь: «Я рад, что моя сила уходит». Этот снежок ты кинул в меня или в себя самого? Кого ты обманываешь? Ведь тебе жаль потерять ее, верно?
- Отчасти.
- Не увиливай, Дэви.
- Ладно, пусть будет так. Знаешь, я будто раздвоился. Пускай она исчезнет без следа, я не стал бы возражать. Боже, за какую провинность ты вообще меня ею наградил? Но, с другой стороны, кем я стану, если потеряю ее? Где моя индивидуальность? Ведь я Селиг – Чтец Мыслей, правда? Замечательный Телепат! А если я перестану быть Замечательным?
- Понимаю. Что ж, Дэви, прими мои соболезнования.
- По поводу?
- По поводу твоей уходящей силы.
- Но ты же ненавидела меня за нее до мозга костей!
- Это было давно. Теперь я знаю, через что ты должен пройти. Как по-твоему, почему ты ее теряешь?
- Не знаю. Возрастное, наверно.
- А что-нибудь способно ее удержать?
- Сомневаюсь, Джуди. Я понятия не имею, почему меня наделили этим даром, не говоря уж о том, как он действует. Просто-напросто мозги у меня устроены по-особому, не так, как у других, может, благодаря наследственности. Я родился со своим даром, как люди рождаются с веснушками. Если твои веснушки начинают бледнеть, можешь ты придумать способ сохранить их, если тебе того, конечно, хочется?
- А на обследование ты никогда не согласишься?
- Нет.
- Почему?
- Я не желаю, чтобы кто-то копался в моей голове. Не желаю быть историческим примером. Я всегда стремился держаться тише воды ниже травы. Если бы мир узнал обо мне, я бы стал парией и меня бы, наверно, линчевали. Тебе известно, скольким людям я открылся? Угадай, скольким, за всю мою жизнь?
- Десятку?
- Троим. И никому из них – добровольно.
- Троим?
- Тебе первой. Полагаю, ты подозревала об этом с детских лет, но уверилась только в шестнадцать. Вторым был Том Найквист, но с ним мы уже не общаемся. А третьей – девушка по имени Китти, которая тоже осталась в прошлом.
- А та высокая брюнетка?
- Тони? Я таился от нее как мог. Она узнала правду не от меня, и такое, кстати сказать, могло произойти со многими. Однако сам я признался лишь троим. Я не хочу, чтобы меня считали шизоидом. Так что сей дар мне ни к чему. Пусть исчезает. Скатертью дорога!
- Но ты все-таки жаждешь сохранить его.
- И сохранить, и потерять.
- Ты противоречишь сам себе.
- Разве? Ладно, значит, так тому и быть. Я сложный человек, во мне много всякого понанихано. Что я могу сказать тебе, Джуди? Какая правда будет настоящей?
- Тебе больно?
- Кому из нас не больно?
- Потерять дар – все равно что стать импотентом, верно, Дэви? Перед тобой чья-то голова, а ты никак не можешь в нее проникнуть. Однажды ты сказал, что чтение мыслей при-

водит тебя в экстаз. Жизненный опыт, могучий поток информации. А теперь поток сократится или вообще иссякнет; твой голод останется неутоленным. Как тебе моя сексуальная метафора? Подходит?

– Отчасти. – Я подливаю ей вина. Несколько минут мы сидим молча, подбирая спагетти и обмениваясь робкими улыбками. Мне кажется, я начинаю испытывать к Джуди симпатию, прощаю ей все годы ненависти, все враждебные выпады. Она меня называла цирковым фокусником. Я то и дело слышал: «Ты трусливый шпион, Дэви, не лезь в мою голову, а то я убью тебя. Опять подсматриваешь! Уйди прочь, парень, держись подальше!» Она не позволила мне познакомиться со своим женихом. Боялась, что я расскажу ему о других мужчинах, с которыми она спала.

«Я хотела бы, чтоб ты сдох на помойке и сгнил заодно со своими секретами». И так далее в том же духе. Но теперь-то мы любим друг друга, Джуди? Совсем немножко, однако ты любишь меня сильнее, чем я тебя.

– Я больше не могу, – говорит она внезапно. – Ты знаешь, раньше в постели с мужчиной я практически всегда испытывала оргазм. Но лет пять назад, когда мы с мужем решили расстаться, что-то произошло. Как будто внизу у меня замкнуло что-то. Я начала кончать только на пятый, на десятый раз. Никак не могу ответить. Лежу, дожидаясь, чтобы это случилось, и, естественно, получаю шиш. Потом я вообще перестала кончать. И так до сих пор, уже три года. Я спала после развода, быть может, с сотней мужчин, ну, плюс-минус пять или десять, и ни один не пробрал меня, а ведь среди них были настоящие быки, эдакие племенные жеребцы. Карл намерен заняться мной, может, сумеет вылечить. Так что, Дэви, это чувство мне знакомо. Я знаю, что ты переживаешь. Ты теряешь свой наилучший контакт с людьми, теряешь контакт с самим собой, становишься самому себе чужим. – Она усмехается. – Ты знал про меня? Про мои затруднения в постели?

Я медлю с ответом. Ледяной блеск в глазах выдает ее агрессивность. Она обижена до глубины души и, даже стараясь любить, не может не ненавидеть. Какое же хрупкое у нас родство! Мы связаны подобием брачных уз, Джудит, что грозят вот-вот порваться. Впрочем, все это ерунда.

– Да, – говорю я, – знал.

– Я так и думала. Ты никогда не переставал копать во мне. – Ее улыбка исполнена злобы. Она рада моей беде. – Я всегда была открыта для тебя, Дэви.

– Не беспокойся, это недолго продлится. – Ах ты, сука садистская! Красотка чертова! И ты все, что у меня есть? – Как насчет добавки, Джуди?

Сестра. Сестра. Сестра!

Глава 14

Яхья Лумумба

Гуманитарный 2А, д-р Катц

10 ноября 1976 года

Тема Электры у Эсхила, Софокла и Еврипида

Сравнение того, как используется миф об Электре у Эсхила, Софокла и Еврипида, позволяет изучать на конкретном примере различные методы развития действия. «Хоэфоры» Эсхила, «Электра» как Софокла, так и Еврипида во многом схожи между собой. Орест, изгнанный сын убитого Агамемнона, возвращается в родные Микены, где встречает свою сестру Электру. Она убеждает его отомстить за гибель отца, убив Клитемнестру и Эгисфа, которые умертвили Агамемнона после возвращения царя из-под Трои. Однако трактовка в общем одного и того же сюжета оказывается у трех драматургов различной.

Эсхил, в отличие от более поздних авторов, берет за основу этические и религиозные мотивы преступления Ореста. Характеристики персонажей и их поступков просты до смешного, и неспроста вдумчивый Еврипид в своей «Электре» потешается над Эсхилом в сцене узнавания. В драме Эсхила Орест появляется в сопровождении своего друга Пилада и в качестве жертвы кладет на могилу Агамемнона прядь своих волос. Потом они уходят, а к гробнице приближается скорбящая Электра. Она замечает прядь волос, узнает их, говорит, что «они похожи на волосы ее брата», и решает, что Орест прислал их сюда, чтобы выразить свою скорбь. Затем Орест появляется снова и открывается Электре. Именно это неправдоподобное узнавание и пародирует Еврипид.

Далее Орест сообщает, что его послал оракул Аполлона, чтобы он отомстил за убийство Агамемнона. Возвышенной речью, которая изобилует длиннотами, Электра укрепляет решимость Ореста, и тот тут же отправляется убивать Клитемнестру и Эгисфа. Он проникает обманом во дворец, сказав, будто является посланцем далекого Фокия и принес весть о смерти Ореста. Войдя внутрь, он немедля приканчивает Эгисфа, а затем обличает мать в измене и поражает и ее тоже.

Драма заканчивается явлением Оресту, обезумевшему от терзаний, фурий, которые преследуют его. Он ищет убежища в храме Аполлона. В «Эвменидах» – мистико-аллегорическом продолжении трагедии – Оресту отпускается его грех.

Иными словами, Эсхила не слишком заботит правдоподобие действия. В своей трилогии «Орестея» он преследовал цели теологического порядка: показать деяния богов, наложивших на целый род проклятие, которое порождено убийством и приводит к нему же. Его философия проста: «Зевс единый указывает истинный путь познания: он правит людьми, а те должны черпать мудрость из своих горестей». Эсхил приносит в жертву драматургическую технику или, по меньшей мере, отводит ей второстепенное место, сосредоточив внимание на религиозных и психологических аспектах матерубийства.

«Электра» Еврипида, в сущности, полярно противоположна по замыслу трагедии Эсхила. Еврипид толкует сюжет иначе, углубленнее и многозначнее. Электра и Орест у Еврипида гораздо рельефнее. Электра – полубезумная женщина, изгнанная из дворца; ее выдали замуж за крестьянина, и она жаждет отомстить. Орест – трус, проскользнувший в Микены окольными путями, подло разит в спину Эгисфа, хитрой уловкой обрекает на смерть Клитемнестру. Еврипид озабочен драматической достоверностью, тогда как Эсхил к ней совершенно равнодушен. Электра узнает Ореста не по волосам и не по размеру ноги, а, скорее, по...

О боже! Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Смерть моя. Это вообще не дело, мать его так. Разве мог Яхья Лумумба написать такую чушь? Лажа, откровенная лажа, от начала до конца. С какой стати Яхье Лумумбе сдавать это дерьмо о греческой трагедии? С какой стати мне пыхтеть за него? Что он Гекубе, что ему Гекуба, почему он должен плакать о ней? Рву все и начинаю заново. Я напишу сочинение на джазовом; парень, я напишу на «дынном» негритянском. Боже, помоги мне думать по-черному. Но я не могу. Не могу. Мне хочется все бросить. По-моему, у меня жар. Постой, может, глотнуть для бодрости? М-да! Попробуй снова. Вложи-ка больше души, парень! Ты, чертов жидовский ублюдок, душу вложи, слышишь? О'кей. Поехали. Значит так, жил да был этот тип Агамемнон, он был лихой мужик, слышишь ты, он был Человек, но они его подловили. Его старая курва Клитемнестра, она трахалась с цыплячьим недомерком Эгисфом и однажды сказала: «Малыш, давай-ка мы с тобой сделаем из Агги пустое место, и тогда ты станешь королем. Ты и я, король-королева. Раз-два – и все пойдет по-старому». Агги тем временем болтался в Наме, где заправлял всеми делами, а потом двинул домой, чтобы П и П – то бишь пожрать и поспать. И прежде чем он сообразил, что к чему, его пришили, ну, зарезали, и с ним все. А эта психованная Электра, дочка старого Агги – допер? – она совсем рехнулась, когда ее папаша сыграл в ящик, и говорит своему братцу, – того Орестом кликали, ну и говорит ему: «Слушай, Орест, я хочу, чтобы ты уделал этих двух скотов, поквитался с ними за папочку». А Орест, когда началась вся эта заварушка, шлялся незнамо где и знать не знал, что у них тут творится.

Да, вот так-то, парень. Дошло до тебя? А теперь давай объясняй, к чему Еврипиду «бог из машины» и каково катарсическое воздействие реалистической техники Софокла. Валяй-валяй. О, какой же ты *поц*, Селиг! Какой жалкий *поц*!

Глава 15

Я пытался относиться к Джудит добрее, старался быть хорошим и любящим братом, но от ненависти мне было никуда не деться. Я говорил себе: «Она моя маленькая сестричка, мой единственный сиблинг, я должен ее любить». Но принудить к любви нельзя. Благие намерения так и останутся намерениями. Кроме того, они были не такими уж благими. Я с самого начала видел в Джудит соперника. Я был первенцем, рождался в муках, из неправильного положения, и предполагалось, что я – пуп Вселенной. Таковы были условия моего контракта с Богом: я должен страдать, потому что я особенный, ни на кого не похожий, однако за это вся Вселенная должна обращаться вокруг меня. Девочка, которую взяли в дом, была всего лишь терапевтическим средством, предназначенным для того, чтобы облегчить мне отношения с человечеством. Ей ни в коем случае не полагалось становиться самостоятельной личностью, ей запрещалось иметь личные потребности или отнимать у меня родительскую любовь. Она должна была стать не более чем вещью, предметом обстановки. Разумеется, ничему такому я не поверил. Не забывайте, когда ее взяли в дом, мне было уже десять лет. А десятилетний ребенок все прекрасно понимает. Я знал, что мои родители больше не чувствуют себя обязанными заботиться лишь о своем загадочном, столь не по годам развитом сыночке. Быстро и с огромным облегчением они перенесли внимание и любовь – в особенности любовь – на глупенького, неполноценного младенца. Она заняла мое место. Я стал им не нужен. Естественно, кто бы не возмутился? Так стоит ли попрекать меня тем, что я пытался убить Джудит еще в колыбельке? И неудивительно, что она не испытывала ко мне даже подобия теплых чувств. Ненависть началась с меня. С меня, Джуд, с меня, с меня, с меня! Ты могла бы погасить ее любовью, но не захотела.

Однажды в субботу, в мае 1961-го, я заглянул к родителям. В те годы я навещал их нечасто, хотя проживал поблизости, всего в двадцати минутах езды на метро. Я предпочитал обитать за пределами семейного круга, независимо, вдалеке, и не чувствовал никакого желания вернуться. Кроме того, я корил родителей за те чертовы гены, которыми они меня наградили. А потом у них жила Джудит, откровенно презиращая меня. Зачем было лишний раз беречь душу? Так что я не появлялся в отчем доме неделями и месяцами, избегал его до тех пор, пока материнские звонки не переполняли чашу моего терпения и нежелание не отступало перед осознанием своей вины. Я был доволен, узнав по приходе, что Джудит еще в постели. В три часа дня? «Ну, она ведь гуляла допоздна», – сказала мать. Джудит было шестнадцать. Я представил себе, как она идет на баскетбольный матч школьных команд с каким-нибудь тощим и прыщавым юнцом, а потом обпивается молочными коктейлями. Спи, сестрица, спи крепко и без пробуждения. Конечно, ее отсутствие оставило меня наедине с печальными родителями. Кроткая и бледная мать, утомленный и разочарованный отец. Вся свою жизнь я наблюдал за тем, как они словно становятся все меньше и меньше, а сейчас сделались совсем крохотными. Пожалуй, еще чуть-чуть – и они исчезнут окончательно.

Здесь я никогда не жил. Многие годы Пол и Марта снимали трехкомнатную квартиру, просто потому, что мы с Джудит не могли спать в одной комнате. Но как только я поступил в колледж и снял комнату близ кампуса, родители подыскали квартиру поменьше, гораздо более дешевую. Их спальня располагалась справа от передней, спальня Джудит – слева, за длинным коридором и кухней, а посередине помещалась гостиная, где сиживал, подремывая и листая «Таймс», мой отец. В последнее время он не читал ничего, кроме газет, хотя прежде ум его был куда активнее. От него исходила мутно-серая эманация усталости. Впервые в жизни он начал прилично зарабатывать и мог бы закончить свой век в сравнительном благоденствии, но успел приучить себя к психологии нищего: бедный Пол, жалкий неудачник, ты заслуживаешь куда большего. Он переворачивал страницы, а я читал газету его глазами. «ВЧЕРА АЛАН ШЕПАРД СОВЕРШИЛ ЭПОХАЛЬНЫЙ СУБОРБИТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ». «США ЗАБРОСИЛИ ЧЕЛО-

ВЕКА НА 115 МИЛЬ В КОСМОС!» – кричали заголовки. «ШЕПАРД УПРАВЛЯЕТ КАПСУЛОЙ, РАПОРТУЕТ ПО РАДИО. ПОЛЕТ ДЛИТСЯ 15 МИНУТ».

Я попробовал заговорить с отцом:

– Что ты об этом думаешь? Ты слышал радио?

Он пожал плечами:

– По-моему, ерунда. Безумие. Пустая трата времени и денег.

«КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА ПОСЕТИЛА ПАПУ В ВАТИКАНЕ» (Толстый папа Иоанн выглядел на снимке как раскормленный кролик.) «ЛИНДОН ДЖОНСОН ОБСУДИТ С АЗИАТСКИМИ ЛИДЕРАМИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ». Взгляд отца скользил от заголовка к заголовку. «ПОДДЕРЖИТЕ ПРОСЬБУ ГОЛДБЕРГА О РАКЕТАХ. КЕННЕДИ ПОДПИСАЛ БИЛЛЬ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ». Ничто не откладывалось в памяти отца, даже такая фраза, как «КЕННЕДИ ИЗЫСКИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УРЕЗАТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ». На какое-то мгновение он задержался на спортивном разделе: «ГРЯЗЬ ВЫВОДИТ КЭРРИ БЭКА В ФАВОРИТЫ 87-го ДЕРБИ В КЕНТУККИ». «ЯНКИ» ПРОТИВ «АНГЕЛОВ» В СЕРИИ ИЗ ТРЕХ МАТЧЕЙ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. 21 ТЫСЯЧА ЗРИТЕЛЕЙ».

– Как ты думаешь, кто победит на скачках? – спросил я.

Он покачал головой:

– Что я понимаю в лошадях?

И я понял, что он уже мертв, хотя его сердце будет биться еще лет десять. Он перестал воспринимать мир, он проиграл свою игру.

Я оставил отца в мрачной задумчивости и завел вежливый разговор с матерью. В своем читательском клубе они обсуждали «Убить пересмешника», и мать хотела узнать, читал ли я эту книгу. Нет? Чем же я занимаюсь в свободное время? Хожу ли я в кино? Что там показывают? «Приключение», – сказал я. «Французский?» – спросила она. «Нет, итальянский». Она попросила пересказать содержание, внимательно слушала, ей было интересно, но поняла она далеко не все. «С кем ты гуляешь? – спросила она. – Встречаешься ли с хорошими девушками?» Ее сын – холостяк! 26 лет и еще даже не обручен! Я уклонился от утомительного объяснения с искусством, приобретенным долгой практикой. Извини, Марта. От меня ты внуков не дождешься. Ты получишь их от Джудит, и ждать тебе долго не придется.

– Мне надо поджарить цыпленка, – сказала мать и ушла. Я посидел некоторое время с отцом, а потом направился в туалет, что находился возле комнаты Джудит. Увидев, что дверь была приоткрыта, я заглянул внутрь. Свет не горел, шторы были опущены, но я коснулся мозга сестры, и оказалось, что она не спит и собирается встать. Что ж, Дэвид, прояви дружелюбие, от тебя не убудет. Я легонько постучал в дверь:

– Привет! Ничего, если я войду?

Она сидела в кровати. Из-под белого купального халата виднелась темно-синяя пижама. Джудит зевнула, потянулась. Лицо ее, обычно такое твердое, распухло от продолжительного сна. Вопреки привычке я сразу заглянул в ее мозг и узрел там нечто новое, неожиданное – эротическую инаугурацию моей сестры, произошедшую сегодня ночью. Я увидел все: возню в автомобиле, растущее возбуждение, внезапное осознание того, что дело заходит дальше уже знакомых ласк; вот обнажилось лоно, ах, как неудобно лежать, копошение с презервативом, моментальный переход от категорического сопротивления к полному согласию, торопливые и неловкие пальцы, терзающие девственную щель, осторожные и неуклюжие движения, удивление от открытия, что проникновение происходит без боли, слияние, быстрый мальчишеский взрыв, путанные последствия, смятение, смущение и разочарование от того, что все кончилось, а она осталась неудовлетворенной. Возвращение – в молчании, со стыдом на лицах. Бесшумное прокрадывание к себе в комнату, успокоив мимоходом еще не заснувших родителей. Поздний ночной душ. Мытье, проверка протараненной, слегка опухшей вульвы. Тяжелый сон с частыми перерывами. Долгое пробуждение, постепенное понимание. Она довольна, что стала женщи-

ной, чувствует облегчение – и испуг. Нежелание вставать, встречать новый день, смотреть в глаза Марте и Полу. Джудит, твой секрет мне известен.

– Как поживаешь? – спрашиваю я.

Вынужденная притворяться, она бормочет:

– Не выпалась. Поздно пришла. А ты почему здесь?

– Да так, зашел проведать семью.

– Очень мило с твоей стороны.

– Не по-дружески, Джуди. Или я тебе настолько отвратителен?

– Зачем ты дразнишь меня, Дэви?

– Но я же сказал: стараюсь быть общительным. Ты моя единственная сестра, другой нет и не будет, вот я и решил с тобой поздороваться.

– Считай, что я тебе ответила.

– Ты могла бы рассказать, как живешь. Мы ведь давно не виделись.

– Тебя это интересует?

– Если бы не интересовало, не спрашивал бы.

– Ну да, – сказала она. – Тебе наплевать на меня и мои дела, наплевать на все и всех, кроме Дэвида Селига, так что не строй из себя паиньку. Тебе это не идет.

– Эй, постой! Давай повременим с дуэлью, сестренка. С какой стати ты думаешь, что...

– А ты вспомнил обо мне хотя бы раз за неделю? Я для тебя только мебель. Сестреночка – маленькая дурочка. Ребенок. Помеха. Ты когда-нибудь разговаривал со мной вообще? О чем бы то ни было? Ты знаешь, в какой школе я учусь? Я для тебя совершенно посторонний человек.

– Что ты? Ничуть.

– Какого черта? А что ты знаешь обо мне?

– Целую кучу.

– Например?

– Оставь, Джуди.

– Нет, погоди. Что ты знаешь обо мне? Ну?

– Например? Ладно. Например, я знаю, что тебя сегодня ночью лишили девственности.

Удивление было взаимным. Я раскрыл рот, не веря, что позволил себе произнести эти слова, а Джудит вздрогнула, словно ее током ударило, вся напряглась, отшатнулась, глаза ее засверкали.

– Что? Что ты сказал, Дэви?

– Ты слышала.

– Слышала, но подумала, что мне приснилось. Повтори-ка.

– Нет!

– Почему нет?

– Оставь меня в покое, Джуди.

– Кто тебе сказал?

– Джуди, пожалуйста...

– Кто тебе сказал?

– Никто, – пробормотал я.

На ее лице появилась торжествующая улыбка.

– Ты сам об этом узнал. Я верю. Честно, я верю тебе. Тебе никто не говорил, ты взял это прямо из моей головы, правда, Дэви?

– Лучше бы я не заходил к тебе.

– Ну, признайся. Почему ты не хочешь признаться? Ты же читаешь мысли, Дэвид. Ты – как цирковой уродец. Я давно подозревала это. Все твои предчувствия, когда ты всякий раз оказываешься прав, смущаешься и не можешь объяснить, каким образом, – они отсюда.

Ты уверяешь, что тебе просто везет. Ну да, везет, как же! Но я-то догадалась, откуда ты все выкальываешь. «Эта сволочь читает у меня в голове», – сказала я себе, – и сама себе не поверила. Это же безумие, так не бывает, такое невозможно. А на самом деле – правда. Ничего ты не угадываешь, а подсматриваешь. Мы все для тебя открыты, и ты читаешь в нас, как в книгах. Шпионишь. Разве не так?

Я услышал позади какой-то звук и испуганно шарахнулся от двери. Но оказалось, что это всего лишь Марта; она просунула голову в дверь и неопределенно, заспанно улыбнулась:

– Доброе утро, Джудит. Или я должна сказать «добрый день»? Хорошо поговорили, детки? Не забудь про завтрак, Джуди, – и поплыла дальше.

– Почему же ты не рассказал ей? – накинулась на меня Джудит. – Почему не описал: с кем я была, что делала, что чувствовала?

– Прекрати!

– Ты не ответил на мой вопрос. Есть у тебя эта колдовская сила? Есть? Есть?

– Да.

– И ты тайно шпионил всю свою жизнь?

– Да, да!

– Я знала это. Знала все время. Теперь понятно, почему я всегда чувствовала себя словно вывалянной в грязи, когда ты вертелся рядом. У меня было такое ощущение, будто все, что я делаю, напечатает в завтрашних газетах. Я никогда не оставалась одна, даже заперевшись в ванной. Мне всегда казалось, что за мной подглядывают. – Она вздрогнула. – Надеюсь, я никогда больше не увижу тебя, Дэви. Теперь я знаю, кто ты такой. Жаль, что я не раскусила тебя раньше. Учти, если я поймаю тебя, если почувствую, что ты роешься у меня в голове, то оторву тебе яйца. Усвоил? Оторву, можешь не сомневаться. Давай мотай отсюда, дай мне одеться.

Я попятился к выходу. В ванной я схватился за холодную раковину, подтянулся ближе к зеркалу, чтобы рассмотреть свое пылающее лицо. Вид у меня был ошеломленный и озадаченный. Казалось, на моем лбу отпечатана строка: «Я знаю, что тебя лишили девственности сегодня ночью». Кто тянул меня за язык? Случайность? Или эти слова сорвались с губ, потому что Джудит вывела меня из себя? До сих пор я не позволял себе такой откровенности. Фрейд утверждает, что случайностей не бывает, как не бывает и обмолвок. Все говорится намеренно, на сознательном или на подсознательном уровне. Я сказал то, что сказал, потому что хотел, чтобы Джудит знала правду обо мне. Но зачем? Почему я открылся именно ей? Да, Найквисту я уже признался, но там риска не было. А все остальные пребывали в неведении. Ваши грандиозные усилия пошли прахом, а, мисс Мюллер? Что ж, теперь Джудит знает. Я дал ей в руки оружие, которое способно меня погубить.

Я дал ей в руки оружие. Как странно, что она никогда не пыталась им воспользоваться.

Глава 16

Найквист сказал: «Главная ваша беда, Селиг, в том, что вы глубоко религиозный человек, хотя и не верите в Бога». Найквист всегда говорил подобные вещи, и Селиг не знал, то ли это всерьез, то ли просто игра слов. И умение проникать в чужие души тут не помогало: Найквист был слишком хитер, изворотлив, как змея.

Во избежание осложнений Селиг промолчал. Он стоял спиной к Найквисту, лицом к окну. Падал снег. Улица была засыпана полностью, даже муниципальные бульдозеры не могли пробиться сквозь заносы, и город словно опустел. Сильный ветер налетал порывами. Припаркованные машины были укрыты белыми покрывалами. Немногочисленные дворники многоквартирных домов мужественно разгребали сугробы. Снег шел вот уже третий день. Он покорила весь северо-восток. Он падал на развратные города, на бесплодные пригороды, чуть к западу мягко опускался на Аппалачи, а восточнее молча тонул в мятущихся темных волнах Атлантики. Жизнь в Нью-Йорке замерла. Закрылось все: конторы, школы, концертные залы, театры. Железные дороги не работали, автострады были заблокированы, аэропорты бездействовали. В «Мэдисон-сквер-гарден» отменили баскетбольный матч. Селиг не мог пойти на работу и переждал снегопад в квартире Найквиста, проводя с ним чересчур много времени. Общество приятеля начало его угнетать. То, что прежде казалось в Найквисте забавным и милым, теперь выглядело грубым и жестоким. Чрезвычайная самоуверенность воспринималась как нахальство. Случайные проникновения в мозг Селига, которые раньше представлялись проявлением дружелюбия, скорее были сознательной агрессией. Привычка повторять вслух то, что Селиг думал про себя, раздражала донельзя, но сдерживать бесцеремонного друга не было ни малейшей возможности. Вот и сейчас он извлек из его головы очередную мысль и продекламировал ее почти издевательским тоном:

– Ах, как красиво! «Душа его медленно замирала под шелест заметающего Вселенную снегопада, а снег все падал, как бы приближая конец всего живого и мертвого». Мне очень нравится. Откуда это, Дэвид?

– Джеймс Джойс, – ответил Селиг неохотно. – «Мертвые», из «Дублинцев». – Но я же вчера просил тебя не лезть ко мне.

– Я завидую широте твоих познаний, Дэвид. Мне нравится заимствовать у тебя цитаты.

– Великолепно. А также постоянно повторять их мне?

Найквист, энергично жестикулировавший за спиной Селига, примиряюще выставил вперед ладони.

– Извини, я забыл, что ты не любишь этого.

– Том, ты ничего не забываешь. Ты ничего не делаешь случайно. – Затем, досадуя на себя, он прибавил: – Боже, сколько же он может сыпать!

– Идет и идет, – сказал Найквист. – И не намерен прекращаться. Чем же мы сегодня займемся?

– Тем же, чем вчера и позавчера. Будем сидеть у окна, смотреть на снежные хлопья, слушать пластинки и потихонечку киснуть.

– А как насчет постели?

– Не думаю, что ты в моем вкусе, – поморщился Селиг.

Найквист усмехнулся:

– Шутник. Я имел в виду парочку девиц, из тех, что обитают в этом сарае, пригласить их на вечеринку. Как ты думаешь, найдутся здесь такие?

– Можно поискать. – Селиг пожал плечами. – А бурбон у нас есть?

– Раздобудем, – сказал Найквист.

Он вынул бутылку. Двигался он со странной медлительностью, как бы в непомерно густой атмосфере, состоящей из ртути или иных ядовитых паров. Селиг никогда не видел, чтобы Найквист куда-то спешил. Он отличался некоторой тяжеловесностью, но слово «толстяк» к нему не подходило: широкоплечий мужчина с бычьей шеей, квадратной головой, коротко стриженными волосами, плоским носом, широкими ноздрями и невинной улыбкой. Истинный ариец, ярко выраженный скандинав, вероятно швед, вырос в Финляндии, десятилетним мальчиком был перевезен в Соединенные Штаты. В его речи до сих пор иногда проскальзывал акцент. Уверял, будто ему двадцать восемь, а выглядел он, на взгляд Селига, которому в тот год исполнилось двадцать три, лет на пять старше. Дело было в феврале 1958 года, Селиг еще надеялся чего-то добиться в этом мире. Президентом был Эйзенхауэр, фондовый рынок разлетелся ко всем чертям, на орбиту вывели первый американский спутник, а у женщин вошли в моду сорочки из рогожи. Жил Селиг в Верхнем Бруклине на Пирпонт-стрит и несколько раз в неделю ездил на Пятую авеню в офис издательской компании, где правил рукописи за 3 доллара в час. Найквист жил в том же доме, на четыре этажа выше.

Из всех знакомых Селига Найквист единственный мог читать мысли. Мало того, это его нисколько не смущало. Найквист использовал свой дар для собственной выгоды так же естественно, как глаза или ноги, не извиняясь, не чувствуя угрызений совести. Пожалуй, Селигу не доводилось еще встречать человека с такими крепкими нервами. Найквист был хищником. Он снимал пенки, обозревая чужие мозги, но, подобно дикой кошке, охотился, только чтобы утолить голод, и никогда – для развлечения. Он не испытывал судьбу, брал не больше, чем требовалось, а потребности у него были весьма скромными. Постоянной работы он не имел, да и не стремился занять. Если ему нужны были деньги, он доезжал на метро до Уолл-стрит и отправлялся бродить по мрачным дебрям квартала финансистов, роясь в головах «денежных мешков». В любой день назревали события, которые могли повлиять на рынок – слияние или разделение компаний, открытие месторождения, вести о крупной прибыли. Найквист без труда выуживал существенные подробности и продавал сведения за разумную, но достаточную плату неким инвесторам, которые быстро убеждались в том, что ему можно доверять. Многие неожиданные кровопускания на бирже, породившие быстрые обогащения в 50-х годах, были делом рук Найквиста. Таким способом он зарабатывал себе на комфортабельную жизнь в своем вкусе. Квартира его была невелика, но хорошо обставлена: современная мебель, светильник «Тиффани», на стенах обои с рисунками под Пикассо, бар со множеством бутылок, прекрасный набор записей Монтеверди, Палестрины, Бартока и Стравинского, проигрыватель последней модели. Найквист предпочитал изящную холостяцкую жизнь, часто посещал свои излюбленные рестораны – как правило, малоизвестные и с национальной кухней: японский, пакистанский, сирийский, греческий. Круг его друзей ограничивался немногочисленными избранными – главным образом художниками, писателями, музыкантами и поэтами. Спал он со многими женщинами, но Селиг редко видел одну и ту же дважды. Подобно Селигу, Найквист мог принимать, но не передавать мысли. Однако он чувствовал, когда шарят в его собственном мозгу. Именно так они и познакомились. Селиг, недавно поселившийся в этом доме, развлекался, как ему больше всего и нравилось, – переправлял свое сознание в чужие мозги, знакомясь с новыми соседями. Обследовал голову за головой, не обнаруживая ничего примечательного. И вдруг...

– Скажите, где вы находитесь?

Хрустальная строка слов сверкнула на периферии мозга. Ответ пришел со скоростью телеграммы-«молнии». Но все-таки Селиг понял, что это не направленное послание. Слова просто пассивно лежали наготове. Он быстро ответил:

– Дом 35. Пирпонт-стрит.

– Знаю, знаю. Где конкретно?

– На четвертом этаже.

– А я на восьмом. Как вас зовут?

– Селиг.

– А я Найквист.

Ментальный контакт глубоко интимен. В нем есть что-то сексуальное, как будто вы входите в тело, а не в мозг, потому Селиг несколько смутился. Он чувствовал что-то недозволенное в такой близости с другим мужчиной. Но не отступил. Этот быстрый обмен словами через черную пропасть безмолвия был приятен и слишком ценен, чтобы с ходу отвергать его и то, что с ним связано. На мгновение Селигу показалось, будто сила его возросла, будто он научился не только вытягивать содержимое чужих мозгов, но и посылать сигналы. Нет, это была иллюзия. И он, и Найквист извлекали информацию друг у друга. Селиг ничего не транслировал, ничего не посылал и Найквист. Каждый из них составлял фразы, которые другому предстояло подобрать, а передача мыслей – все же нечто иное. Тут имелось тонкое, хотя и не слишком важное различие; общий эффект двух приемников широкого диапазона был не хуже телефона. Слияние двух разумов, для которых нет преград. Осторожно, неумело Селиг проник на самый глубокий уровень сознания Найквиста. При этом он не только принимал послания, но и изучал человека. На самом дне он обнаружил беспокойство; возможно, и Найквист исследовал его самого. Несколько минут они изучали друг друга, словно любовники, сплетающиеся в первых ласках, хотя, конечно, всякая ласка в касаниях Найквиста отсутствовала, он был холоден и безразличен. Тем не менее Селиг трепетал, ему казалось, он стоит на краю пропасти. Наконец, оба вежливо отстранились. Затем пришел сигнал:

– Поднимайтесь ко мне. Я встречу вас у лифта.

Найквист оказался крупнее, чем ожидал Селиг, эдакий футбольный защитник; неприветливый взгляд, сухая, вежливая улыбка. Он держался на расстоянии, хотя холодности и не проявлял. Селиг вошел в квартиру и огляделся: мягкое освещение, незнакомая музыка, атмосфера броской элегантности. Хозяин предложил выпить, затем они немного потолковали, по возможности стараясь не копать в голове друг друга. Сдержанное знакомство, ни слез, ни объятий по поводу того, что они наконец встретились. Найквист был вежлив, отзывчив, доволен, что Селиг оказался рядом, но вовсе не сходил с ума от радости, отыскав собрата-монстра. Возможно, потому, что он и раньше встречал себе подобных.

– Мы не одиноки, – сказал он. – Вы четвертый или пятый из тех, кто попадался мне в Штатах. Сейчас посчитаем: Чикаго – раз, Сан-Франциско – два, Майами – три, Миннеаполис – четыре. Значит, вы – пятый. Две женщины и трое мужчин.

– Вы общаетесь с ними?

– Нет.

– Не поладили?

– Просто разнесло в разные стороны. А чего вы ожидали? Что мы образуем клан? Вот посмотрите, мы с вами беседуем, играем мыслями, знаем всю подноготную друг друга, и нам скучно. Думаю, что двое из тех пятерых уже умерли. Я не возражаю против того, чтобы меня оставили в покое. Мне никто не нужен.

– А я никогда не встречал таких, как я, – сказал Селиг. – Вы – первый.

– Это все ерунда. Важно жить своей жизнью. Сколько вам было лет, когда вы обнаружили свой дар?

– Не знаю. Пять, может быть, шесть. А вам?

– Я не понимал своей уникальности лет до одиннадцати, ибо полагал, что ничем не выделяюсь. Только когда я приехал в Штаты и услышал, что люди думают на другом языке, я понял, что с моим мозгом что-то не так.

– А где вы работаете? – спросил Селиг.

– Я стараюсь работать как можно меньше. – Найквист усмехнулся и резко направил свои «рецепторы» в мозг Селига. Это было своего рода приглашение; Селиг принял его и выдвигался

нул свои «антенны». Побродив по чужому сознанию, он быстро уловил суть вылазок Найквиста на Уолл-стрит, увидел всю его ритмичную, сбалансированную жизнь, жизнь человека без страстей. Подивился холодности Найквиста, цельности и ясности его души. Насколько она была прозрачна! Насколько чиста! Но где он прячет свои страдания? Где страхи, одиночество, неуверенность?

– А почему вы так жалеете себя? – спросил Найквист.

– Жалею?

– Жалость переполняет вас, Селиг. Что с вами? Я заглянул в вас и увидел только боль.

– Проблема в том, что я изолирован от других.

– Кто изолирован? Вы? Вы господин человеческого разума. Вы можете делать то, на что не способны 99 процентов людей. Они мучаются с фразами, с приближенными значениями, семафорными сигналами, а вы идете напрямик. И считаете себя в изоляции?

– Информация, которую я получаю, бесполезна, – возразил Селиг. – Я не могу пускать ее в дело. Пожалуй, можно было бы и не считывать ее вообще.

– Почему бесполезна?

– Это всего лишь подсматривание. Я шпион.

– Вы чувствуете себя виноватым?

– А вы?

– Я не выпрашивал свой особенный дар, – сказал Найквист. – Так уж получилось, что меня им наделили, и я его использую. Мне это нравится. Мне нравится жизнь, которую я веду. Я сам себе нравлюсь. А почему вы себе не нравитесь, Селиг?

– С чего вы взяли?

Найквист промолчал. Селиг допил вино и спустился вниз. Собственная квартира показалась ему чужой, он провел несколько минут, перебирая знакомые предметы: фотографии родителей, маленькую коллекцию отрывоческих любовных писем, повертел в руках пластиковую игрушку, которую подарил ему много лет назад доктор Гиттнер. Он по-прежнему ощущал присутствие Найквиста. Это были всего лишь последствия визита, не более, – Селиг был уверен, что сейчас Найквист его не прощупывает. Однако встреча со скандинавом так потрясла его, что он решил не общаться больше с назойливым телепатом, даже переехать при первой возможности в Манхэттен, в Филадельфию или Лос-Анджелес, куда-нибудь подальше, где Найквист его не достанет. Всю свою жизнь он мечтал встретить человека, который оценит его дар, а сейчас не мог избавиться от ощущения, что ему грозит опасность. Способности Найквиста потрясли его и напугали. «Он унизит меня, – думал Селиг. – Он поглотит меня». Однако постепенно паника сошла на нет. Дня два спустя Найквист зашел к нему, чтобы пригласить на обед. Они закатились в расположенный неподалеку мексиканский ресторанчик и напились там вдрызг. Найквист по-прежнему немного его поддразнивал, ерничал и отпускал свои шуточки, но делал все это так мило, что Селиг ничуть не обижался. Очарование нового друга, силу которого стоило взять за образец, было непреодолимо. Найквист словно стал ему старшим братом, который уже прошел через ту же юдоль скорби, уцелел и набрался опыта, а теперь подбадривает младшего, советует примириться с условиями их существования, – как он их называл, «сверхчеловеческими» условиями.

Они сделались близкими друзьями. Два или три раза в неделю вместе выходили из дома, вместе ели, вместе пили. Селигу всегда казалось, что дружба с себе подобными должна быть очень крепкой, но нет, через неделю после знакомства они воспринимали свой дар как нечто данное, редко обсуждали его, не умилялись своему превосходству над погрязшим в тупости миром. Иногда они разговаривали вслух, иногда устанавливали прямой контакт между сознаниями. Жить было легко и весело, если только Селиг не впадал в обычное свое уныние, а Найквист не высмеивал его за потакание слабостям. Но даже это не порождало между ними трений – до того снегопада, когда им пришлось провести вдвоем слишком много времени.

– Выпей, – сказал Найквист, отхлебывая глоток янтарного бурбона.

Селиг отодвинул стакан, раздумывая над предложением Найквиста поискать девушек. Мероприятие заняло каких-то пять минут. Обозрев здание, Найквист выбрал парочку соседа с пятого этажа. «Глянь-ка!» – сказал он Селигу, приглашая того в свой мозг. Селиг принял приглашение. Найквист настроился на сознание одной из девушек, эдакой чувственной, сонливой кошечки; ее глазами приятели рассматривали другую – высокую худощавую блондинку. Дважды отраженный образ был тем не менее достаточно четким. Длинноногая блондинка излучала сладострастие и словно сошла с рекламной картинки.

«Эта моя, – заявил Найквист. – А твоя тебе нравится?»

Вслед за ним Селиг вошел в мозг блондинки. Да, все при ней: потолковее подружки, холодна, себялюбива, похотлива. Из ее мозга через Найквиста пришел и образ подруги, что развалилась на диване в розовом халатике: рыжеволосая пышка, полногрудая и круглолицая.

«Ладно, – сказал Селиг. – Почему бы нет?»

Найквист покопался в чужих мозгах, отыскал номер телефона, позвонил и, используя все свое обаяние, пригласил девушек в гости. Те быстро согласились составить компанию. «Эта ужасная выюга, – сказала блондинка. – Она может свести с ума». Вчетвером они выпили море ликера под аккомпанемент джаза: Мингус, Эм-Джи-Кью, Чико Гамильтон. Рыженькая была вовсе не такой толстой, как показалась Селигу с первого взгляда – должно быть, двойная рефракция все же исказила ее черты, – но она оказалась ужасно смешливой, и Селиг слегка в ней разочаровался. Но теперь отступать было некуда. Поздно вечером они разделились на пары: Найквист и блондинка пошли в спальню, а Селиг с рыжей остались в гостиной. Селиг криво усмехнулся. Он никак не мог справиться с этой инфантильной усмешкой, хотя и знал, что она выдает его нетерпение и давящую робость. Они поцеловались, его рука потянулась к ее груди. Она с бесстыдной жадностью прижалась к нему. Кажется, девушка была на несколько лет старше, впрочем, такое ощущение возникало у него почти всегда. Их одежды упали на пол. «Я люблю худых мужчин», – сказала она и хихикнула, ущипнув его скудную плоть. Ее груди поднялись к нему розовыми сосками. Он ласкал их с застенчивой ненасытностью девственника. В последние месяцы Найквист поставлял ему своих бывших любовниц, но вот уже несколько недель Селиг ни с кем не ложился в постель и потому боялся, что долгое воздержание приведет к конфузу. Однако ликер охладил его как раз в меру, он был в порядке и действовал энергично, не опасаясь кончить слишком быстро.

Примерно в тот момент, когда Селиг понял, что рыжая слишком пьяна, чтобы дойти, он почувствовал зуд в черепе: туда забрался Найквист. Такое любопытство выглядело странно для обычно сдержанного шведа. «Шпионит за мной», – подумал Селиг. На мгновение он смутился, ибо не привык к тому, чтобы за ним подсматривали во время полового акта, и даже начал слабеть, но потом усилием воли восстановил эрекцию. «Все это не имеет значения, – сказал он себе. – Найквист совершенно аморален, делает все, что ему нравится. Тычется туда и сюда безо всякого стеснения. Какое мне дело до его поведения?»

Успокоившись, он сам достал Найквиста и запустил в его мозг свой зонд.

– Как дела, Дэви? – приветствовал его Найквист.

– Прекрасно.

– Мне досталась горяченькая. Погляди.

Селиг позавидовал холодному спокойствию Найквиста. Ни стыда, ни вины, никаких сложностей. И ни следа эксгибиционистской гордости, ни намек на вуайеризм. Для него, похоже, было вполне естественно обмениваться впечатлениями в столь интимный момент. Селиг все же не мог перебороть себя, хоть и зажмурил глаза при виде того, как деловито Найквист обрабатывает свою блондинку и в свою очередь следит за ним, а образы этого параллельного соития скачут от мозга к мозгу. Сделав на мгновение паузу, Найквист отметил смущение Селига и тут же его высмеял.

– Тебя коробит мое беспутство? – спросил он. – Нет, едва ли. Тебя пугает сам контакт, причем любой. Верно?

– Нет, – возразил Селиг, но он чувствовал, что его приятель попал в «яблочко». Они обменивались образами еще минуту-другую, пока Найквист не решил, что пришло время кончить, и бурная встряска нервной системы, как обычно, вышвырнула Селига из его сознания. Вскоре после того Селиг позволил кончить и себе; дрожащий и усталый, он обмяк на диване. Найквист явился в гостиную полчаса спустя в сопровождении блондинки в чем мать родила. Он не потрудился постучать, что несколько удивило рыжую: Селиг, разумеется, был не в состоянии объяснить ей, что Найквист отлично знает, когда можно. Они поставили музыку, Селиг с рыжей попивали бурбон, Найквист со своей блондинкой прошлись по шотландскому виски, а на заре, поскольку снег продолжал падать, Селиг даже предложил начать все по второму кругу, поменяв партнеров. «Нет, – сказала рыжая. – С меня на сегодня хватит. Я хочу спать. В другой раз, ладно?» Она потянулась к одежде. А затем, у двери, пошатываясь, проронила на прощание: «Что-то в вас не то, ребята. Вы, часом, не чокнутые?»

In vino veritas⁵.

⁵ Истина в вине (лат.).

Глава 17

Я на приколе. Спокойный, неподвижный, заякоренный. Нет, это ложь, или если не ложь, то некоторая неточность, серия несовершенных определений. У меня отлив. Беспереывный отлив. Я как скалистый берег, от которого отступила вода, каменная глыба с плетью грязно-бурых водорослей, повисших над ушедшими волнами. Между ними сует зеленый краб. Да, я на спаде, я слабею, я сокращаюсь. Но, знаете ли, при всем при том я совершенно спокоен. Конечно, настроение мое меняется, но *Я чувствую себя Совсем спокойным Теперь*.

Пошел третий год с тех пор, как я ощутил упадок. Думаю, началось это весной 1974 года. До той поры я работал безошибочно. Сила моя являлась по первому требованию, проделывала все обычные штучки, служила мне во всяких грязных делах, но затем, без предупреждения, без всяких оснований, начала иссякать. Сперва – появились маленькие ошибки в приеме. Крошечные эпизоды психической импотенции. Я связывал эти события с ранней весной, пятнами почерневшего снега на улицах; их не было ни в 75-м, ни в 73-м, значит, остается тот год, который оказался в промежутке. Как хорошо было, расположившись в чужой голове, спрятавшись там понадежнее, следить за скандальными мыслями. И вдруг все расплылось, стало неопределенным. Словно бы читаешь «Таймс», а текст, строчка за строчкой, превращается в белиберду в стиле Джойса; скучнейший отчет президентской комиссии, в котором излагаются мелкие факты, становится внезапно сущей абракадаброй. Как бы вы поступили, если бы, проснувшись поутру и думая, что провели ночь с возлюбленной, обнаружили, что пытались изнасиловать морскую звезду? Но эти неясности и неточности были еще не самое плохое: появилась инверсия, пошли совершенно противоположные сигналы. Например, я принимаю пламень любви, а излучается ледяная ненависть, ну и так далее. Когда подобное случалось, я готов был биться головой о стенку, лишь бы ощутить подлинную реальность. Однажды я принял от Джудит сильнейшие волны сексуального желания, непреодолимую жажду кровосмешения; из-за этого у меня пропал великолепный обед, потому что я помчался в туалет и выблевал в унитаз содержимое своего желудка. Все ошибка, все обман. Она хотела пронзить меня копьем смерти, а я принял его за стрелу купидона. Ну, а после того появились белые пятна, пробелы в приеме, кратковременная потеря контакта; возникала и путаница в сигналах: волны двух сознаний поступали одновременно, и я не мог разобраться, какая от кого. Иногда исчезали краски, потом они восстанавливались, но одна из них была неверна. Многочисленные утраты, иногда мелкие, едва различимые по отдельности, но все вместе они существенно исказили картину. Я составлял список того, что мог делать раньше и больше не могу. Инвентаризация потерь. Словно умирающий, прикованный к постели, парализованный, но способный видеть, следит, как родичи растаскивают его добро. Сегодня унесли телевизор, завтра антикварное издание Теккеря, а там пошли ложки, альбом Пиранези, горшки и кастрюли, мои галстуки, мои брюки, а на следующей неделе мои пальцы, мои кишки, роговица, яички, ноздри. Ну для чего им понадобились мои ноздри? Я пытался вернуть свой дар долгими прогулками, холодным душем, теннисом, массивными дозами витамина А и другими надежными, проверенными средствами. Пытался даже экспериментировать с постом и праведными размышлениями, но такого рода усилия казались мне неподходящими и даже богохульными. Я старался относиться к своим потерям с юмором, об успехах моих стараний вы уже получили представление. Эсхил советовал мне не лезть на рожон, равно как Еврипид и, по-моему, Пиндар, а если бы я взялся за изучение Нового Завета, то и там нашел бы похожую рекомендацию. Так что я подчиняюсь, не спорю, я принимаю, все принимаю. Вы видите, как зреет во мне смирение? Не сомневайтесь, я совершенно искренен. По крайней мере, сегодня утром, когда золотистый солнечный свет затопил комнату и проник в мою растерзанную душу. Я на пути смирения. Лежу и практикуюсь в технике, которая сделает меня нечувствительным к потерям. Я ищу утешение, скры-

тое в сознании падения. Старейте со мной! Все-таки самое лучшее – это быть, существовать. Верите? Я верю. Я становлюсь лучше, если принимаю такие вещи. До завтрака я верил в шесть совершенно невозможных вещей. Добрый старый Роберт Браунинг! Как он умеет утешить:

*Возрадуйся же каждому удару.
Что сотрясает, лют, земную твердь!
И нас бросает в жизни круговерть!
Пусть три четвертых счастья – это боль.
Смелей вперед и сердца не неволь!*

Да. Конечно. «И пусть страдание будет на три четверти разбавлено радостью!» – мог бы добавить он. Сегодняшним утром я испытываю как раз такую радость. И все утекает, все покидает меня, идет отлив. Все уходит, испаряется из каждой поры.

Молчание надвигается. Когда оно завладеет мной окончательно, я ни с кем не буду говорить. И никто не будет говорить со мной.

Вот я стою над унитазом и терпеливо изливаю из себя свою силу. Естественно, я ощущаю некоторую печаль. Я чувствую сожаление. Я чувствую – что за ерунда? – раздражение и злость, и отчаяние, и – как странно! – стыд. Щеки у меня горят, мне стыдно смотреть в глаза смертным – моим сотоварищам, как если бы мне доверили что-то ценное, а я не оправдал доверия, растратил свое имущество, расточил наследие, позволил ему ускользнуть, уйти. Теперь я банкрот. Может быть, это фамильная черта – такая растерянность перед лицом несчастья. Мы, Селиги, любим говорить миру, что мы люди порядка, господя своей души, но, когда происходит что-либо чрезвычайное, теряемся. Помню, как в 1950-м мои родители приобрели автомобиль – темно-зеленый «шевроле» выпуска 1948 года, приобрели за мизерную цену и поехали куда-то, в Квинс кажется, на могилу моей бабушки – ежегодное паломничество. И какая-то машина, выскочив из боковой аллеи, врезалась в нас. «Шварце» за рулем, пьяный в дупель, в общем жуть. Никто не пострадал, но нам помяли крыло, сломали решетку, оторвали замечательный тавровый профиль, отличительную примету модели 48-го года. Хотя авария произошла не по вине отца, он все краснел и краснел, как будто просил прощения у Вселенной за то, что необдуманно позволил стукнуть свою машину. И как же он извинялся перед этим пьяным водителем, мой страшно огорченный отец! «Все в порядке, все в порядке, бывает и не такое, вы не должны беспокоиться, вы же видите, все о'кей». «Вы посмотрите на мою машину, на мою», – твердил тот, походя, догадываясь, что он только слегка стукнул наше «шевроле». Я боялся, что отец даст ему денег на ремонт, и мать, опасаясь того же, увела отца в сторону. Неделию спустя он все еще терзался сомнениями. Я заглянул в его голову, когда он разговаривал со своим другом. Оказывается, он уже уверил себя, что за рулем сидела мать, – чушь собачья, у нее не было прав, – мне стало за него стыдно. То же происходило и с Джудит: когда ее замужество расстроилось, больше всего она горевала по поводу того постыдного факта, что она, Джудит Ханна Селиг, такая целеустремленная и удачливая в жизни, связалась с каким-то мерзавцем, разлучить с которым ее мог теперь только суд. Какая вульгарность! Эго, эго, эго. Я – волшебник-мыслечтец, вступивший на таинственный путь увядания, извиняюсь за собственную беспечность. Где-то я растратил свой драгоценный дар. Простите ли вы меня?

*Прощение в дом,
А память – как дым.
Живя, мы ворчим.
Умирая, живем.*

Черкните-ка воображаемое письмецо, мистер Селиг! Кхе-кхе! Письмо мисс Китти Голстейн. На Западную Шестьдесят какую-то улицу. Адрес уточним позже. Об индексе не беспокойтесь.

«Дорогая Китти!

Знаю, что ты не слышала обо мне целые века, но думаю, приспела пора нам встретиться снова. Прошло тринадцать лет, мы оба должны были повзрослеть, полагаю, годы излечили старые раны и понимание стало возможным. Несмотря на тяжелые испытания, которые нас разделили, я никогда не забывал о тебе и по-прежнему поминаю добром.

Что касается моего мозга, мне надо кое-что тебе сказать. У меня уже далеко не так хорошо получаются те фокусы с чтением мыслей, которые, хоть с тобой я их и не проделывал, определяли и формировали мои отношения с миром. Но способность эта, кажется, впала в спячку. Она причинила нам много горя, помнишь? Именно она разлучила нас, как я пытался объяснить тебе в последнем письме, на которое ты не ответила. Примерно через год или – кто знает? – через полгода, через месяц, через неделю – она покинет меня навсегда, и я стану обыкновенным человеком, таким же, как ты. Урод исчезнет навеки. И, может быть, тогда мы сумеем возобновить отношения, которые были прерваны в 1963 году.

Знаю, я натворил много глупостей. Я безжалостно давил на тебя. Я отказывался принимать тебя такой, какая ты есть, пытался превратить во что-то уродливое, похожее на меня самого. Теоретически у меня были самые благие устремления, так мне тогда казалось, но, конечно, я ошибался. Я был не прав и понял это, увы, слишком поздно. Ты воспринимала меня эдаким силачом, тираном, диктатором – это я-то, склонный к самоуничтожению отвратительный слизняк! И все потому, что я пытался переделать тебя. А в результате – надоел. Конечно, ты была тогда совсем молоденькой. Ты была – простишь ли мне такие слова? – поверхностной, неоформившейся, сопротивлялась мне. Но теперь мы оба взрослые, мы можем сделать еще одну попытку.

Я с трудом представляю себе, как сложилась бы моя жизнь, будь я обычным человеком, не умеющим читать чужие мысли. Как раз сейчас я на распутье, подбираю определения самому себе, ищу надежную опору. Я серьезно подумываю о принятии католичества. (О боже, я ли это? Впервые слышу о такой идее. Вонь фимиама, бормотанье патеров, этого я хочу?) А может быть, обратиться к епископальной церкви? Еще не знаю. Я стремлюсь к возвращению в ряды человечества. А еще я хочу любить. Хочу быть частью чего-то. Я уже начал осторожно налаживать отношения с моей сестрой Джудит, хотя всю жизнь мы воевали друг с другом. Мы недавно с ней встретились, и это подбодрило меня. Но мне нужно больше: мне нужна женщина, которую я бы любил, и не только в плане секса. Настоящая любовь посещала меня лишь дважды в жизни: с тобой и, лет через пять, с девушкой по имени Тони, она была очень похожа на тебя. И оба раза этот несчастный мой дар все разрушил: в первый раз потому, что я не мог войти в чужую душу, во второй – потому, что вошел слишком глубоко. Но если непрошенная сила моя ушла, если она умерла, тогда, возможно, есть шанс наладить обыкновенные человеческие отношения. Потому что я буду обыкновенным, я хочу быть обыкновенным.

Я мечтаю о тебе. Тебе сейчас 35, по крайней мере мне так кажется. 35 лет – почти старость, хотя мне самому уже 41. (Но 41 – другое дело.) Однако я представляю тебя двадцатидвухлетней. Ты даже выглядишь еще моложе: светлая, открытая, наивная. Конечно, это воображаемый образ, только внешняя сторона, ибо я не отваживался на свой обычный психический фокус, так что выстроил образ Китти, которая, вероятно, на самом деле не Китти. Так или иначе, тебе – 35. Я вижу тебя более молодой. Была ли ты замужем? Наверное, да. Счастлива ли? У тебя куча детей? Замужем ли ты до сих пор? Какая у тебя теперь фамилия, где ты живешь и как тебя найти? Если ты замужем, сумеем ли мы встречаться? Не думаю, что ты идеально верная жена – ты не оскорблена? – надеюсь, что в твоей жизни найдется местечко для меня в качестве друга, в качестве поклонника. Видишься ли ты с Томом Найквистом? И долго ли вы

были вместе после нашего разрыва? Обиделась ли ты на меня за то, что я рассказал о нем в том письме? Если твое замужество распалось или если ты никогда не была замужем, согласишься ли ты жить со мной? Не обязательно как жена, можно как подруга. согласишься ли помочь мне пройти через последние фазы моего несчастья? Мне так нужна помощь, помощь и любовь. Я знаю, это убогий способ делать предложение. Помоги мне, Китти, утешь меня, останься со мной! Я мог бы покорить тебя силой, а не слабостью. Но я так слаб сейчас! В моей голове растет молчание, оно ширится, ширится, заливают весь череп, заполняет его гулкой пустотой. Я страдаю, я болен медлительной утратой реальности. Вижу только очертания, не существо, а теперь даже и очертания неразличимы. О боже! Китти, ты нужна мне. Китти, как я найду тебя? Китти, я почти не знаю тебя. Китти! Китти! Китти!»

Тванг! Звучный аккорд. Твинг! Лопнула струна. Твонг! Расстроена лира. Тванг! Твинг! Твонг!

Дорогие дети Божьи! Моя проповедь будет сегодня краткой. Я хочу только, чтобы вы подумали и вникли в несколько строчек, которые я намерен содрать у святого Тома Элиота, мудрого пастыря сих трудных времен. Возлюбленные, я адресую вас к «Четырем квартетам», к парадоксальной строчке: «В моем начале мой конец», которая далее, через несколько страниц, повторяется в усиленном варианте: «То, что мы зовем началом, часто является концом, а закончить и значит начать». Дорогие дети мои, некоторые из вас завершают этап своей жизни именно сейчас, то есть то, что было определяющим, ныне отходит в тень. Так что же это, конец или начало? Может ли конец одного быть началом другого? Я думаю, может, возлюбленные мои. Если мы закрываем одну дверь, это не мешает нам открыть другую. Конечно, требуется смелость, чтобы войти в эту новую дверь, поскольку мы не знаем, что именно находится за ней, но тот, кто верит в Бога нашего, который умер за нас, кто полностью доверяет Ему, пришедшему для спасения человека, тот войдет без страха. Все жизни – паломничество к Нему. Мы можем умирать маленькими смертями каждый день, но мы и возрождаемся от смерти к смерти до той поры, пока, наконец, не уйдем во тьму, в пустое межзвездное пространство, где Он ожидает нас, и зачем же бояться, если Он там? А пока не наступил тот час, давайте проживем нашу жизнь, не поддаваясь искушению горевать о самих себе! Помните всегда, что мир полон чудес, что всегда найдутся новые дороги и у каждой из них есть конец, но на самом деле это не конец, а только остановка на долгом пути. Так зачем же стенать? Зачем поддаваться печали, если вся наша жизнь – ежедневное вычитание? Но если мы теряем это, разве мы также теряем и то? Если уходит красота, уходит ли любовь? Если чувства слабеют, разве не можем мы вернуться к прежним чувствам и найти утешение в них? Большая часть наших горестей происходит из непонимания.

Радуйтесь, возлюбленные, в этот день Господа нашего, и не попадитесь в силоч, где вы сами себя запутаете, не разрешайте себе погрузиться в грех уныния и не ищите ложного различия между концом и началом, но идите вперед в вечном поиске к новым радостям, новым встречам, новым мирам и не оставляйте в вашей душе места страху, но всегда склоняйтесь к миру Христа и ожидайте, что Он придет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Вот и пришло, как ему и положено, темное равноденствие. Бледная луна блестит, как выбеленный временем череп. Падают на землю скукоженные листья. Огни гаснут. Усталые голуби опускаются вниз. Тьма разрастается. Все постепенно гибнет. Пурпурная кровь с трудом пробивается в суживающиеся сосуды; сердце замерзает, душа съеживается; даже ногам нельзя доверять. Пропадают слова. Наши пастыри признаются, что они заблудились. Это очевидно. Вещи уходят. Краски выцветают. Серое время, оно будет еще темнее. Обитатели моего дома, тусклые мысли в тусклый сезон.

Глава 18

После ухода Тони из моей комнаты на 114-й улице я ждал два дня, ничего не предпринимая. Я полагал, что она успокоится и вернется или раскается и позвонит от кого-нибудь из знакомых, сожалея, что поддалась панике, и я доставлю ее домой на машине. Кроме того, за те два дня я вообще не мог и пальцем пошевелить, ибо все еще страдал от последствий своего невольного странствия. Чувство было такое, будто кто-то схватил меня за голову и тащит к себе, растягивая шею, как резиновую ленту, а потом отпускает с громким «чвак», взбалтывая мне мозги. Так что я провел два дня в постели, главным образом дремал, читал и время от времени вскакивал как безумный на каждый телефонный звонок.

Но она не вернулась и не позвонила. Во вторник, на третий день после «странствия», я начал разыскивать Тони. Первым делом обратился к Тедди, ее боссу, весьма приятному, образованному человеку, очень вежливому, очень веселому. Нет, он ее не видел. Это очень срочно? Он может дать номер ее домашнего телефона. «Но я звоню из дома, – сказал я. – Ее здесь нет, я не знаю, куда она ушла. Мое имя – Дэвид Селиг». «О!» – вздохнул он сочувственно. Я попросил, чтобы она позвонила мне, если появится в конторе.

Затем я начал опрашивать ее подруг: Алису, Дорис, Элен, Пам, Грэйс. В большинстве своем они, как я знал, не любили меня. И чтобы понять это, не требовалось телепатии. Они считали, что Тони губит себя, связавшись с человеком без карьеры, без перспектив, без денег, без цели, без таланта и даже без политических взглядов. Все пятеро сказали мне, что ничего не слышали о Тони. Голоса Дорис, Элен и Пам звучали искренне; две другие девицы, как мне показалось, лгали. Я поехал на такси к Алисе, в Виллидж, заглянул в ее мозг. Целых девять историй, которые мне были вовсе ни к чему, но о Тони ни намек. Шпионить было противно, и я не стал зондировать Грэйс. Вместо этого позвонил писателю, чью книгу Тони редактировала, узнать, видел ли он ее. «Нет, не появляется уже третью неделю», – ответил он ледяным тоном. След потерялся.

Я промучился всю среду, гадая, как же быть? Под конец сорвался на мелодраму и позвонил в полицию. Продиктовал скучающему дежурному сержанту приметы Тони: высокая, стройная, длинные темные волосы, карие глаза. Не находили ли неопознанных тел в Центральном парке? Или в мусорных стоках подземки? Или в подвалах домов по Амстердам-авеню? Нет. Нет. Нет. «Если что-нибудь обнаружим, мы тебе сообщим, парень, – сказал сержант, – но, по-моему, ты зря тревожишься». Полиция, что с них возьмешь? Взволнованный, безутешный, я поплелся в «Грейт Шанхай» пообедать, но аппетита не было, и хорошая пища пропала зря. (В Европе дети голодают, Дэви. Ешь! Ешь как следует!) Затем, сидя над останками креветок с жареным рисом, окончательно выбитый из колеи своей утратой, я занялся дешевкой в той манере, какую всегда презирал: тщательно рассмотрев посетительниц ресторана, я выбрал среди них одну, неразговорчивую, разочарованную, сексуально доступную, с потребностью в поднятии духа. Разумеется, затащить в постель ту, кто хочет туда лечь, совсем не трудно, отчасти даже скучно. Мне попалась довольно приятная на вид женщина лет двадцати пяти, замужняя и бездетная. Муж ее, преподаватель Колумбийского университета, очевидно, больше интересовался своей диссертацией, чем женой. Он просиживал вечер за вечером в читальном зале Батлеровской библиотеки, что-то там выискивая, домой заявлялся поздно, изнуренный, раздраженный и почти ни на что не способный. Я привел ее в свою комнату – а куда же еще? – но довести дело до конца не сумел; она решила, что в том ее вина, и два томительных часа подряд плакалась мне в жилетку. Потом я не выдержал, приложил все свое старание – и кончил почти сразу. Да, не лучший миг в моей жизни. Когда же я вернулся, проводив ее домой – угол 110-й улицы и Риверсайд-Драйв, – зазвонил телефон. Пам! «Я узнала, где Тони, – сказала она,

и внезапно мне стало жутко стыдно за свою, если можно так выразиться, измену. – Она у Боба Ларкина на 83-й улице».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.